




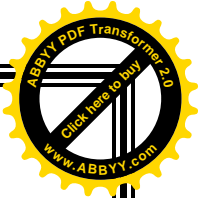
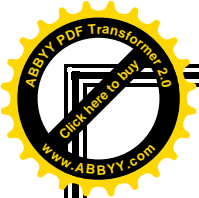


## Содержание:

 <b>Василиса искусница.....</b>	<b>02</b>
 <b>Гуси - Лебеди.....</b>	<b>06</b>
 <b>Дусина правда.....</b>	<b>09</b>
 <b>Зрелые каштаны.....</b>	<b>15</b>
 <b>Капля в море.....</b>	<b>19</b>
 <b>Мельница .....</b>	<b>29</b>
 <b>Несовместная кровь.....</b>	<b>35</b>
 <b>Орбита совы.....</b>	<b>37</b>
 <b>Распахнутые горизонты.....</b>	<b>51</b>
 <b>Хвост дракона.....</b>	<b>71</b>
 <b>Баланжа.....</b>	<b>77</b>
 <b>Басанова.....</b>	<b>82</b>
 <b>Падеспань.....</b>	<b>86</b>



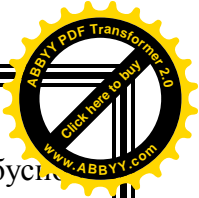
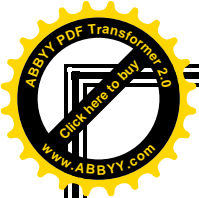
## Василиса искусница

Молодость! Задор и задиристость в тебе, хрупкость тел и быстрый бег в тебе, глянец лиц и огонь в крови в тебе! И все в первый раз: поцелуй и звездный час, любовь и верность навечно, без прощания прощания, за друга в бой и на смерть, отплытия и открытия - чего? Ах, не все ли равно! Открытия миров! Открытость души! Откровенность за откровенность! В тебе пробиваются и проклевываются еще первые ростки будущих побед и таятся щербинки грядущих поражений – канва, по которой начинает судьба выводить узоры и росписи, стежки и дорожки, расставляя вехи и смешивая их, заручившись характером, полируя его и вновь, оставляя зазубрины и шероховатости. Молодость! Тебе все нипочем. И что тебе трубы черной металлургии, химических комбинатов, коксогазовых батарей, что закольцевали собой город и курят дымною отравой, которая извиваясь, расползается под небом?..

Чадят заводы всей палитрой мрачных красок, не жалуется и северная природа, рано начинает холодать, и легкий осенний морозец достает щуплую девчонку, которая одета, хотя и по моде, да не по сезону. Торопится в летних туфельках по мостовой, забегая то в один продовольственный магазин, то в другой. Не такая уж она и девчонка, только с виду, – этим летом закончили они с мужем институт и направили их сюда на работу с обещанием, что для молодой семьи дадут квартиру от завода, что оказалось на поверку иначе. Вот и снимают они место в комнате 13 м<sup>2</sup>, где проживает злобная бабуся, которая разрешила им поставить кроватку для сына, да на ночь стелить матрас.

Матраса, конечно, у них не водилось, и с первых же полученных денег, они отправились в мебельный магазин, где и приобрели его – двуспальный и огромный, потому что других вообще не было. Юный муж, затянув на последнюю дырку ремень, взвалил матрас на спину и понес, отчего он, высоченный парень, вырос еще на полматраса, – иначе бы пришлось тащить покупку волоком по земле. Нести надо было далеко. Ни в автобус, ни в такси с таким матрасом не сунешься, да и поднять его надо было на пятый этаж. Это потом они будут довольны, особенно ночью, прижавшись друг к другу. Им будет тепло и сладко.

Толстый матрас спасал их от сквозняков и жесткого пола, и не важно, что рядом, как сталактиты, возвышались ножки стульев, стола, комода и прочей домашней утвари и что комната демонстрировала изнанку всей своей мебели. Ему, матрасу, нравилось служить этим двум еще не оперившимся птенцам, для которых он был единственным прибежищем в этом мире, их уютным островком, их домом. По ночам он вслушивался в доверчивый и любящий шепот этой пары, в их смешки и возню, но, особенно, его трогало, когда Митя, молодой муж, подсовывал и подпихивал одеяло со всех сторон у Василисы, чтобы ей ночью было тепло. А Василиса не понимала его заботы и считала, что это лишнее, ведь она умела так прижаться к Мите и расположиться между его острых коленок и локтей, берцовых костей и ребер, что казалось – спит один человек, которого никакой сквозняк не продует. Конечно, матрасу доставалось, когда на него взбирался их сынишка, светлоголовый и кудрявый, с такими же синими глазами, как у Мити, но до того прыткий и непоседливый, что матрас боялся за свое существование. Этот озорник скакал неустанно, толкал матрас ногами, тер коленками, кувыркался на нем и на своих родителях, а те ему в это время не уступали! Егозили и веселились беспричинно все вместе. Но матрас был сделан прочно, чем он и гордился. Сколько раз Василиса с Митей говорили друг другу: «Какой хороший матрас мы купили! Всем матрасам матрас! Такой толстяк, и хорошо, что большой, другой нам бы вовсе не подошел». Это был их первый угол на планете, который они сворачивали раненько утром, умывались в общем туалете,



кипятили чай на общей кухне, тащили сынишку в садик, а сами в толкотне и автобусе давке ехали на работу.

Сегодня выходной, и спешит Василиса купить продукты, чтобы сварить обед своей семье, да везде ее задерживают очереди. Курицу продают с головой, которая мотается во все стороны, пока ее взвешивает продавщица, и торчат у весов корявые ноги над куриным туловом, до конца не очищенным от перьев. Подает продавщица курицу в руки не завернутую, потому как завернуть ей не во что, а бумаги с собой молодая хозяйка по недомыслию не прихватила, так и положила курицу в сумку, а затем туда же отправила россыпью помидоры. Вспомнила вдруг, что кончился дома шампунь для мытья волос, а волосы надо сказать, у нашей Василисы Прекрасной были шикарные, дар Божий, а не волосы, - и пышные, и волнистые, и золотистые. Без шампуня никак нельзя, – потому как дома муж молодой и любимый, обязательно нужен шампунь!

А шампунь продавался в стеклянной бутылочке и закручивался голубой пробочкой, а этикетка гласила, что его фирменное название – «Яблоневый цвет». Бежит Василиса по лестнице на последний этаж серого пятиэтажного дома, очень торопится, да и как же иначе? Скоро уже время обеда, а она еще только из магазина идет, и муж и сынишка ее ждут. Все бегом: переоделась, чмокнула сынишку, который загудел, что мама опять из комнаты уходит, пообещал мужу: «скоро! скоро!» – и на кухню к столу, на котором ей разрешили готовить обед. Плита на всех одна, и одну горелку ей соседки выделили. Курица куплена, вот и решила сварить молодая хозяйка борщ на курином бульоне. Рядом готовят обед две старые, если не сказать древние бабули, которые изъяснялись на местном наречии так, что их просто невозможно понять. Когда они заговорили в первый раз, то Василиса вытаращила глаза и напряглась уловить хотя бы одно слово по-русски, потом, не выдержав, спросила:

– Это какой язык?»

– Как какой? - возмутились бабули. – Знамо дело, русский.

– Скажите: Чай.

– Цай.

– Скажите: сердце?

– Серице...

– А плечо?

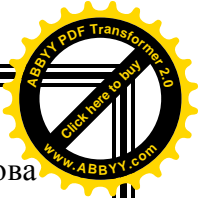
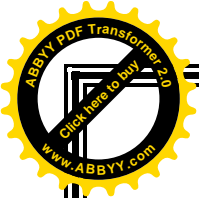
– Плицо, – отвечали бабули.

– Нет, я вас не понимаю, особенно, когда быстро и все вместе.

Они засмеялись: «Цереповцане це зе англицане, только поговорочка на це».

Василиса открыла свою сумку и остолбенела, крышка шампуня приоткрылась и курица с помидорами были залиты шампунем. Стоял густой ванный аромат «Яблоневого цвета». Бабули ахнули.

Василиса, не раздумывая, начала мыть помидоры, а те скользили намыленные, пенились и, казалось, нескончаемо будут продолжаться их выкрутасы и сальто в воде, а запах так прилип к помидорам, что их вполне можно было выставлять в парфюмерном магазине. Наконец-то они заблестели зеркально красной кожей, отмытые от шампуня. Василиса сунула нос в горку помидоров и осталась довольна: запах был почти неуловим. Другое дело – курица. Под струей воды она покрылась пеной, которая не смывалась, как с помидоров, а пузырилась будто на голом теле в бане, да к тому же издавала аромат «Яблоневого цвета» такой силы, что нос уже не чувствовал ничего иного. Запах распространялся по всей кухне. Бабули искоса наблюдали, а Василиса, не обращая на них внимания, продолжала мыть и тереть неподдающуюся курицу. Затем полотенцем насухо ее вытерла, приюхиваясь к чистенькой, как из банки, курочке.



Потом взяла нож и начала ее разделывать: отлетела дурная голова необработанные, окостенелые лапы, потащила из нутра потрошки и сложила содержимое в миску, а вдруг пригодятся. Василисе не нравилась эта работа, но она не представляла, что ее можно поручить другому, ведь и другому, то есть Мите, это неприятно, и потому она все делала сама. Отполированная курица была уложена в кастрюлю, в которую Василиса налила воды для супа, а затем поставила на огонь... Но как только вода начала нагреваться, на поверхности запузырилась и выросла пена. Пена лезла из кастрюли, и Василиса не успевала ее убирать алюминиевой поварешкой. Видя безнадежность своего мероприятия, она вылила эту воду в раковину, затем залила новой из под крана и, вновь выполоскав курицу, поставила кастрюлю на огонь. Пенистая шапка упорно обновлялась в кастрюле, а если Василиса мешкала, то пена непременно пыталась сбежать. И эту воду Василиса вылила. Она решила, после очередного обмыва курицы и кастрюли, что делает это последний раз, и, к ее радости, пена больше не поднималась, ее не стало совершенно, но запах... Аромат «Яблоневого цвета» оставался укором под крышкой кастрюли. Василиса то и дело ее открывала и нюхала содержимое, надеясь, что запах исчезнет сам собой при варке. Но все больше убеждалась, что «это» есть было нельзя.

Василиса размышляла: «Можно было бы снова сходить в магазин, но, во-первых: вчера я потеряла три рубля, а на них можно было купить и мясо, и продукты. Теперь денег в кошельке осталось в обрез, а во вторых - времени тоже нет: пока схожу, пока вернусь, пока сварю... А эта курица почти готова. Что делать? Так, – сказала себе Василиса – я закончила химический факультет, мы такое в колбах смешивали, такие закручивали реакции, а запахи то возникали, то исчезали. Думай, что надо сделать, чтобы курица не пахла!» Подсказка не замедлила появиться в голове: «Древесный уголь убирает запахи, не вредя вкусовым качествам, хороший адсорбент. Но где его взять? А бабули? Может у них спросить, они такие старые и пользуются, наверное, старыми утюгами, или самоваром?» Бабули искоса наблюдали за Василисой, но помалкивали.

– Бабушка, – обратилась она к одной, – у вас нет древесного или активированного угля?  
– А зачем тебе, милая?

Василиса им объяснила, что уголь ей нужен, чтобы бросить в бульон, и тогда запах исчезнет.

– Не мозет быть! – изумились старушки.

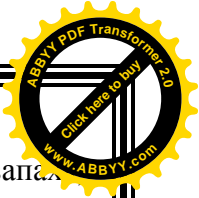
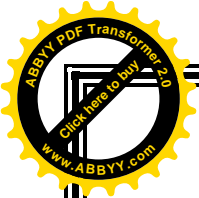
– А в аптеке продают уголь, – сказала одна, – зелудоцники пьют.

Василиса попросила:

– Бабушки, бабулечки, поглядите за супчиком, я в аптеку сбегаю!

«Беги, милая, беги, не перезывай, посмотрим, поцто ж, не доглядеть». Василиса заскочила в комнату, ее мужчины чинили утюг, сидя на матрасе, меняли спираль и развинчивали какие-то шурупчики отверткой. «Я сейчас приду, скоро будем обедать!» Накинув пальтишко, она слетела с лестницы, побежала в аптеку, которая находилась через квартал на углу, и опрометью вернулась обратно, держа в руках семь пакетиков активированного угля.

Открыв первый, она увидела в нем десять черных таблеток. Теперь удивилась она: «Уголь в таблетках? Что же будет?» Была не была - и уголь полетел в кастрюлю, затем еще и еще... Таблетки размокли, раскрошились и расплзлись по всему бульону, окрашивая его в черный цвет. Василиса смотрела в кастрюлю и ужасалась. Понюхала бульон, запах исчез, но и обед окончательно пропал вместе с ним. Для еды эта чернота явно непригодна. Василиса не сдавалась: «Бабушки, дайте марли!» – почти застонала она. Бабули метнулись к себе в комнату и принесли новенькую марлю. Василиса отрезала от большого лоскута нужный кусок, простирнула его, сложила его в несколько раз, затем



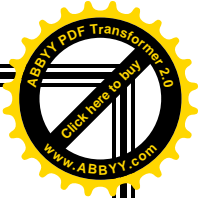
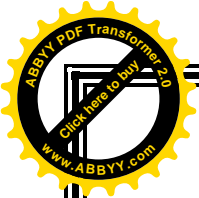
вынула и обмыла уже готовую курицу, а потом процедила содержимое. Бульон без запаха, как стеклышко, прозрачный, как слеза! Ура!

Овощи давно наготове. Она быстренько начала варить борщ, да с поджарочкой, да с помидорчиками, с лучком, с чесночком, да с петрушечкой. Курицу поставила на отдельную тарелку из японского фарфора, которую ей подарила мама, натерла ее чесночком, посыпала укропом, обложила помидорчиками и марш в комнату: кормить своих дорогих изголодавшихся мальчишек! А они уже сидели за столом, в ожидании обеда и потихоньку жевали хлеб. Аромат борща распластался по комнате, а цвет его напоминал полыхающий розарий. «Не забывайте сметану!» Наконец-то она присела и попробовала сама, что же у нее сегодня получилось? Очень даже съедобно, а как ребятам? – «Вкусно! Очень вкусно!» Она больше не торопилась, смотрела на своих дорогих мальчишек и рассказывала им, как она варила сегодняшней обед. Митя смеялся, но борща не отставил, а сынишка, не понимая их, смеялся за ними тоже.

Она вышла на кухню мыть тарелки после обеда, а мальчишки обалдевшие растянулись на матрасе, сынишке пора было уже поспать. Две бабули встали рядышком стенкой и спрашивают:

- Ну, как?
- Что как? - улыбалась Василиса.
- Ну, как, музичек–то твой, едал твое варево?
- Ну, а что же за причина не есть? Сказал, что вкусно.
- Ай–яй,- яй! А наш Колька тебя да ейтой курицей по всем пороцкам с пятого этажа бы прогнал!
- Какой такой Колька?
- Да вчерась вечер тут и был.
- Этот пьяница плюгавенький?
- Он и есть, досталось бы тебе! Золотой у тебя мужик!
- « Он просто любит меня», – подумала Василиса.

Е.А. Гусева-Рыбникова



## ГУСИ - ЛЕБЕДИ

Старик занял место в купе и теперь наблюдал в открытую дверь за парочкой, которая стояла у окна в коридоре и, не замечая посторонних миловалась. Кто-то один из двоих поедет с ним. Он смотрел на высоченного и долговязого мальчишку, который обхватил почти не видную в его объятиях девушку-тростиночку и поминутно наклонялся, заглядывая ей в лицо и целуя то глаза, то щеки, то нос, то волосы, торчащие густой чащей поверх его рук. Не хотелось, видно, пареньку отпускать свою зазнобу. Молодец, держи крепче, нет горше потери первой любви, с ней надолго соки жизни уйдут, если это всерьез, конечно. Девушка вошла в купе, и показалось старику, будто ветку цветущей липы в прозрачной посудине перед ним поставили.

– Здравствуйте, – негромко произнесла девушка и не отвела взгляда от прищура старика. «Глаза-то - инда первые листочки на липе распускаются, зелень-то какая ярвая», – подумал старик.

«Ох, какие брови лохматые у дедушки, далеко глаза запрятали, хитрый-то какой получается!» – заметила Липочка.

– Тебя как звать величать, деушка», – спросил старик.

– Зовут меня Липа, а полное имя Евлампия.

– Я догадался. Красиво величают, ныне такие имена уже не дают, не старoverы ли родители?

– Нет, что вы! По прабабушке назвали.

– Добро, коли родичей помнят. А меня зови Петрович, оно и покороче, да и мне больше глянется. Жених это твой?

– Нет, не жених, друг мой.

– Как же не жених, а так любитесь, рази с другом такое обхождение? – не отставал старик.

– Он замуж меня не звал, потому не жених, но любит меня, а я его, – ответила, улыбаясь, девушка.

Старик остался доволен, значит, не из баловства так-то обнимались, значит, виды друг на дружку есть. Она располагалась в купе: вот поставила чемоданчик под сиденье и шерстяную светленькую кофточку на вешалку повесила, сумочку беленькую справа от себя на крючок приспособила, а кулечек бумажный на стол бережно положила. В магазинах такие кулечки сворачивают продавщицы, ловко и быстро зашипнут кончик, чтобы держался тот кулечек, а сверху уголки туда-сюда, туда-сюда зацепят, и готово. Вот он лежит на столе, а и не видно, что же там содержится. Старик приметил, что этот кулечек ей ее мил-друг передал.

Зашла проводница, сверкая пуговицами с молотом на форме, чувствовалось, что она при исполнении обязанностей. Присела на сиденье в узкой юбке, положила на колени свою кассу из черного дерматина с кармашками для билетов и стала сворачивать розовые билеты Петровича и Липочки, засовывая их в кармашки. Липа почти жалобно обратилась к ней:

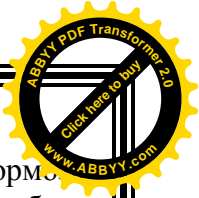
– Вы, пожалуйста, разбудите меня заранее, а то поезд на нашей станции три минуты стоит, чтобы я успела выйти.

– Не беспокойся, на то я тут и есть. Успеешь. Чай будете пить?..

Проводница ушла, а Липочка, в оправдание своей просьбы, рассказала старику, как ехала она в прошлый раз на этом же поезде, а поезд скорый и стоит в Орле ровно три минуты, а приходит он туда в три часа ночи.

– Я заранее предупредила проводницу и вышла из купе с чемоданом в коридор, а затем присела на боковое сиденье, за окном темно и тихо в вагоне, только слышно, как колеса





перестукиваются, и незаметно они меня убаюкали. Сквозь сон слышу толчок и тормоз. Стулья отчетливо заскрипели, очнулась разом и к проводнице, а та спит, закрывшись у себя в купе. Я давай стучаться к ней, она выскочила оголтелая, и все бегом: дверь открыла, ступеньки сбросила и меня туда, чемодан вслед мне полетел, а тут и поезд пошел. Я ей кричу: «А билет мой! Билет!» Мне дальше надо было ехать, в Орле у меня только пересадка, там мне билет бесплатно компостировали, и тогда могла я дальше ехать. Теперь я должна была вновь купить билет, а в кошельке у меня оставалось 90 копеек. Я студентка, к маме ехала, все истратила и последние эти 90 копеек оставила - в буфет сходить в Орле. За билет на местный поезд, надо было заплатить 3руб. 50 копеек. И что делать? Сижу грустная, жду, когда поезд придет, может быть поверят мне. Подхожу к проводнице, так и так, объясняю ей, смотрит она на меня искоса и спрашивает: «Сколько у тебя денег?» – «90 копеек» – отвечаю. – «Ну, давай хоть 90 копеек». Я ей из кошелька все до копеечки отдала, и со спокойной душой села у окошка, радуюсь, что домой еду. В вагоне мало было людей. Я очень люблю в поезде в окно смотреть, а тут места родные, названия все до боли знакомые, сердце поет, потому что теперь уже дом близко. А поезд у нас каждому столбу кланяется, и ехать хотя и недалеко, а долго. Вот довольная и улеглась я на вторую жесткую полку, и скоро заснула. Только слышу голоса, контролеры идут, зайцев ловят, но я не переживаю, потому что должна же была проводница им обо мне сказать. А они уже в нашем купе, и рядом с ними никакой проводницы нет, я чуть глаза приоткрыла и вижу, как шелкают они по билету пассажира компостером, а я без билета и что ни на есть настоящий заяц, а мой билет едет в другом поезде до Кисловодска. Закрывает глаза крепче, и готова исчезнуть, а некуда. Подходят они ко мне, один другому и говорит: «Как крепко спит девушка, даже будить жалко!» – «Красиво спит», - отвечает другой, а сам меня легонько толкает: «Девушка, проснитесь!» Я не отвечаю, они меня еще легонько потолкали, я не открываю глаза, тогда один и говорит: «Пошли, пусть спит, разве такая девушка без билета поедет?» Они ушли, а я им до сих пор благодарна, что стыда благодаря их великодушию избежала, потому теперь беспокоюсь и проводницу, наверное, зря обидела. Хотя деньги в этот раз все не истратила. Я так по маме соскучилась, больше всего по ней скучаю, во сне вижу, особенно ее руки!»

Старик слушал ее, и хорошо было ему от пустяка, который волновал эту девушку. Липица весенняя! Жаль, что это быстро зельем да бильем порастет.

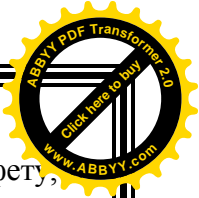
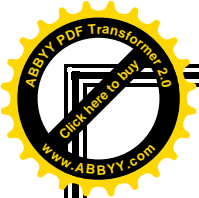
– Красоту они твою почтили, девичество пожалели, а что без билета была, догадались, не иначе, – сказал ей Петрович.

Проводница принесла чай, посмотрела на ладно сидящих старика с девушкой, уж не родные ли они, но нет – старик скоро выходит, а ей ночью, в Курске или в Орле, уже забыла. Их много, а я одна!

Чай был горячий, темный в тонких стаканах, слившихся с ажурными подстаканниками – из посеребренного металла, с выпуклой, узорной чеканкой, – которые долгие годы держат марку железной дороги. Не выпить чаю в поезде – это все равно, что лишиться главного приза на празднике. Позвякивали ложечки в стаканах, дрожала ребристо поверхность чая в такт с раскачиванием вагона, и лежал на накрахмаленной салфетке с голубыми буквами «Ленинград – Кисловодск» в белой обертке кусочками сахар.

Девушка взяла кулечек и вот все замысловатые изгибы бумажки она начала распутывать, разматывать, а в конце крутанула хвостик кулечка, раскрыла его совершенно и высыпала на стол конфеты в темно-синей обертке с белой птицей посередине.

– «Гуси-лебеди» – так они называются, – сказала Липа. – Угощайтесь!



« Ай да паренек! Ай да задел старика! Ну и я в долгу не останусь!» Взял конфету, повернул ее и так и эдак, все птицу на бумажке разглядывая прищуром своих острых глаз, а Липа не могла отвести взгляда от его натруженных рук, с кривизной в пальцах, как будто перебитых в косточках, с узловатыми буграми на стгибах, в черных несмываемых трещинах на подушечках пальцев, которыми он держал, но как будто не собирался есть конфету. Зень, зень, – бренчат ложечки в стакане. Дах, дах, – выстукивают колеса по рельсам. Старик поднял лицо, и не было больше запряганных глаз под бровями, смотрел он на девушку, но был где-то далеко, далеко, да недолго. И начал он так:

– Расскажу я тебе, Липочка моя духмяная, одну притчу, из были и из мудрости, что для себя найдешь, а что другому перескажешь, что по жизни пронесешь, а что без надобности забудешь. То из всех слов тебе и вбирать. Не одинаковые птицы на земле живут, как и люди. Вот, к примеру, голуби, – видела как они любят, как воркуют друг перед другом, как блажат. Как голубь перед голубкой кренделя выписывает, шейку на показ, лапочками снует и поет: гуля, гуля! Время приходит – гнездо совьют, яички отложат, а тут беда – погибла его голубка. Голубь быстро утешится, гнездо забудет, яички покинет и перед новой голубкой одним да другим боком тетешится и заново поет: гуля, гуля! В его любви нет детенышей, и памятьности тоже нет.

А вот другая птица, про которую речь и поведу, гусь прозывается. Мало кто знает, что эта птица – самая верная в природе, ежели погибает его подруга, а уже гнездо свито, яйца насижены, то садится гусь на гнездо, и высидит птенцов, и вырастит их сам, всему обучит, и на воде до осени один плавает с гусятами. Таким был мой отец. Ладно они жили с мамой, он ей слово худого за их короткую жизнь сроду не сказал, той ласки, как у голубей, мы, дети, не видели, промеж них она тайно была. Пришла беда, вез, да не довез он ее зимой до больницы, как родила она ему последнего в саях, а сама померла. Вот и остался он с нами тремя, да грудник в придачу. Ничьей помощи отец не принял, сам выкормил козьем молоком последыша, а нам всем по дому дела были поручены – чего не знали, обучал, показывал. Жили дружно, небогато, но все нужное у нас было. И одеты, и сыты, а время учебы пришло, в школу детей отправил. Я, старший, с ним остался, а прочих всех выучил, ниже техникума никому не позволил остановиться. Мужик был он видный, а мышь копны не боится, так и молодки детей, – и по-соседски приходили, и сваты сватали, а он – ни в какую: «Как ни хороша, а мачехой будет детям». Сам управлюсь». Сначала считали за чудака, потом прониклись, уважали. А одна была молодуха, так его любила, так любила, и нам, детям нравилась, и ему, видать, глянулась, а не позволил, перестала к нам захаживать, а на улице он ей только ведра с водой поможет донести – и все внимание. Одним словом – гусь. Его в деревне так и прозвали Гусем.

Но это еще не конец. Еще одна птица разлюбезная – лебедь называется. Этот любит свою лебедушку более детей, более жизни. Если погибает его Любавушка, он так об землю с высоты грохнется, что вся его грудь из белой кумачовая делается, и крылья раскидывает перед ней саваном. Разные люди, и любовь у них тоже отличная. Вот тебе и гуси-лебеди!

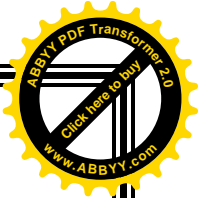
Развернул конфету своими руками-корешками, откусил и засмеялся:

– Неужели с водочкой? Вот уважил, так уважил! Пей, дочка, чай! Простынет, не будет вкуса!

Задумалась, глядя в окно Липа, подперла щеку рукой, будто пригорюнилась. А мимо поезда одним белым полотном вибрировали тонкоствольные березки.

Е.А. Гусева - Рыбникова





## ДУСИНА ПРАВДА

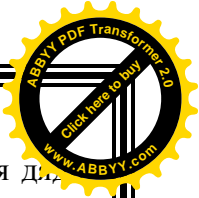
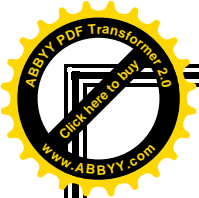
О ней всегда много говорили, а более всего ей доставалось от стариков, что усаживались во дворе на лавочке после домашних хлопот. Она доставляла им, блюстителям дворовой нравственности и порядка, пищу для сплетен, слухов и едкого осуждения, не давала дремать их зловредным языкам, которые, не имея интереса в собственной жизни, завистливо обсуждали чужую. Тетя Дуся была не столько красивой, сколько яркой женщиной: высокая, статная блондинка с тонкими нарисованными бровями, с розовым напудренным носом, и алыми губами. У нее в губах имелась та особенность, которая должна была бы портить лицо, но этого не происходило, а только делало ее еще более заметной. Дуся прошла всю войну медсестрой, была ранена, и след остался в искривленной верхней губе, которая чуть смещалась на бок и придавала ей броское выражение. Когда она шла по двору – в ярко-зеленом костюме из дорогого сукна, с разрезом на боку и шикарными пуговицами, редко кто не смотрел на покачивание ее обтянутых узкой юбкой бедер. Однако самое примечательное в этой проходочке было то, как она отставляла пальчики на руке: один приподнимался над другим, а мизинец стоял выше всех, фланируя в обратном направлении от движения ног.

Работала Дуся акушеркой в родильном доме, и никто лучше ее не мог принять детей у рожениц. Часто с работы она возвращалась с букетами цветов – их яркость зависела от благодати месяца, в котором они цвели: от нее пахло утомленно ландышами в мае, июньские пышные пионы цвета бордо усиливали ее привлекательность, предосенние астры в августе своим многоцветьем прощались с летом и радовались вместе с ней каждому новому дню. Тогда-то, отдавая дань справедливости, поговаривали, что нынче здоровых малышей в городе прибавилось, да все благодаря ее необыкновенным рукам. Она была безотказная, как скорая помощь, и если заболели во дворе у кого-нибудь дети, то все бежали до тети Дуси. Про таких говорят, что у них «легкая» рука: Дуся шлепала по булочке зада ладонью, и болезненные уколы становились слабее укуса комара, ставила банки, ловко управляясь с фитилем спиртовки, раздавала свои таблетки – и все даром, да при этом посмеивалась алой кривизной губ, приговаривала: »До свадьбы заживет!»

Она была замужем, ее муж – дядя Родя, рыжий, длинный и худощавый, любил ее страстно с фронтовых лет и не менее страшно ревновал. Не редко он ее бил. А она, запудрив свои синяки, прикрыв их цветными кофточками, снова выглядела самой красивой и довольной жизнью, – да и ей ли, повидавшей, как слетали на войне с плеч человеческие головы, грустить по такому ничтожному поводу? Жить – это так здорово! Примерять на ноги фильдеперсовые чулки, красить до белизны волосы, носить туфли на каблуках! Нести в руке сумочку, да какую! Лакированную, блестящую, с застежкой бантиком! Да и поверить невозможно, что все это для нее! Не думала дожить...

По вечерам приходили их фронтовые друзья, и тогда тетя Дуся готовила праздничное угощение на общей кухне, делала все быстро, и ее веселый голос раздавался то в коридоре, то на кухне, то в комнате. Но частенько они сами уходили в гости. Она, повиснув у мужа на руке, прижавшись к нему вполоборота грудью и ногой, с газовым шарфиком на шее, выводила его со двора, а он шел прямым истуканом, боясь переменить положение.

Дядя Родя был заядлым рыбаком, но удачливее всего он был в ловле раков. Поутру он выносил на кухню свой улов в огромном тазу – там копошились серые, усатые, пучеглазые раки, ползущие во все стороны, и каждый хотел упредить другого, потому они гурдились один на одном, пихаясь и шлепаясь снова в таз, а если какому-то удавалось вывалиться наружу, дядя Родя подхватывал беглеца за усы, и тот снова оказывался в

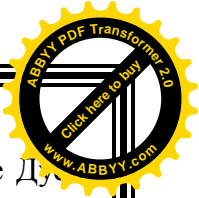
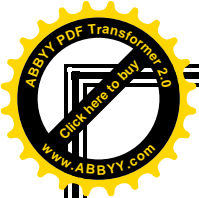


общей массе, продолжая копошиться и соскальзывать вовнутрь. Варить раков для дяди Роди было сплошным удовольствием, он брал большую пятилитровую алюминиевую кастрюлю, заполнял ее наполовину чистой и ледяной водой из колонки и ставил на керогаз. В булькающий кипятик он не торопился бросить живых раков, а держал их за усы над паром, и они в этот момент затихали, обмирая, затем он бережно опускал их в воду, и верх кастрюли скоро и плотно покрывался красными спинками и торчащими во все стороны огненными усами. Удивляла их мгновенная неподвижность, окаменелость и сходство по цвету с дядей Родей. Ловким движением он сливал горячую воду и уносил кастрюлю к себе в комнату.

В один из таких дней, когда поутру раки ползали в тазу на кухне, а вечером допоздна гостили фронтвые друзья, досужая соседская старуха, подглядывающая и подслушивающая частенько возле тети Дусиной двери, после ухода гостей удивилась тишине в комнате. Приникла к замочной скважине и дико закричала: «Караул! Родька Дусю убивает!» Она кричала истошным голосом: «Милиция! Родька! Караул! Милиция!» Дверь открылась, и дядя Родя выскочил красный, как поутру им же сваренный рак и, яростно хлопнув дверью, убежал. А старуха всем рассказывала: «Надо же вздумал, – на шарфе ее душил. Гляжу в замок, а он на кровати стоит и на шарфе ее вверх тащит! Я и закричала»!

На другой день тетя Дуся, усмехаясь, сказала на кухне: «Спасибо тебе, бабушка! Я на тебя все сердилась, что ты подсматриваешь за мной, да видно зря. А то бы я вчера отчиталась». Бабушка ходила довольная, ее любопытство сыграло свою службу. К тете Дуся пришла соседка Людочка, которая по возрасту от нее не отличалась, но замужем не была и кавалеров не имела, она убеждала подать на Родиона в суд. Она так и говорила: «На Родиона, Дусенька, надо подать в суд, а то он может тебя убить». Бабушка поддакнула: «Дуся, ить точно может». Дуся покачала головой: «Нет, никуда я подавать не буду. Он меня на фронте не раз спасал, последний кусок отдавал. По пьянке все это, да и израненный он очень. Любит он меня сильно. Нет, нет и нет». Людочка ушла ни с чем. Ее семья жила напротив, и про них ходила не добрая слава, что в тридцать седьмом году они писали доносы, и родители запрещали детям что-либо рассказывать им, если будут спрашивать. А они действительно расспрашивали детей обо всем, что делается и говорится в семьях, то ли из простого любопытства, то ли и впрямь по службе.

Вскоре из всего многообразия фронтвых друзей у них осталась одна пара. Он был полковник, ходил в военном костюме с планками орденов и медалей, высокий и широкоплечий, лицо его с правильными чертами напоминало облик киногероев, защитников Отечества, бесстрашных и идейных. Он был всегда серьезен, говорил о политике так, как писали в газетах, не сомневаясь в достоверности сообщений, не допуская критики и обсуждения трудностей послевоенной жизни. Он был воин, за плечами которого была Победа, разменянная на моря человеческой крови, братские могилы друзей, разрушенные города и на огонь, пожирающий землю. Его жена, высокая и худая женщина, была беременна пятым ребенком. Беременность ее не украсила – лицо покрылось темными пятнами, губы припухли и раздались. Темные волосы она зачесывала гладко и укладывала сзади узлом. Звали ее Катей. Они приходили с полковником всегда вместе, и чем дальше шло время, тем живот у Кати становился все больше, а она становилась еще некрасивей. Не только мужчины были дружны, но и Катя подружилась с Дусей, и они частенько обсуждали, как Дуся будет принимать у Кати роды, потому что Катя теперь никому другому довериться не хотела. Наконец, наступило время, когда полковник стал приходить в гости один и даже в отсутствие Родиона. У этих свиданий



объявился сторож – та самая соседская старуха, которая однажды уже спасла тете Дуся жизнь и теперь, зная больше всех, зорко за ними следила, не выдавая себя.

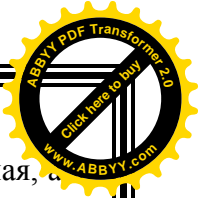
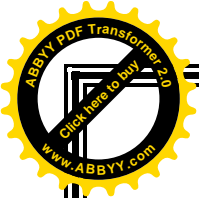
В один из таких вечеров, когда полковник засиделся у Дуся, она забарабанила в дверь, застучала костяшками своих сухих пальцев и зашептала громко, чтобы ее могли слышать: «Дуся! Дуся! Родька идет! Он пока во дворе!» Она закрыла входную дверь на крючок и долго потом не отпирала Родьке, до тех пор, пока Дуся не приоткрыла свою. Дуся, обвивая руками Родиона шею, задышала ему в ухо: «Скучала, заждалась тебя...», а Родион, обхватив ее за спину, целуя свою белокурую и любимую жену, в ответ бурчал: «Ну, а я - знаешь, как...», – и показывал как: поднимая ее на руки, уносил в комнату.

В сумраке на кухне за столом, который был покрыт белой с синими цветами клеенкой, Дуся с бабушкой пили чай при свете зажженной керосиновой лампы, чуть подкопченной, с приглушенным фитилем, отчего разрастались на стенах и потолке кривые тени, расползались всевозможными фигурами, несоразмерными с людьми и предметами. В ту пору иногда свет отключался надолго. Дуся тихонько выговаривала: «Опять ты, бабушка, за мной следила. Хотя я и не обижаюсь, ведь ты меня выручила, а все-таки подсматриваешь, подслушиваешь, зачем?» – «Тебя спасаю. Сама была молодая, а Родька твой сумасшедший, того гляди худое, что сотворит». – «А ты, бабушка, что ж - мужу тоже изменяла?» – «Как тебе сказать, очень уж молодой замуж выдали, не спросили. Шестнадцать годов всего было, еще погулять охота. Да отец был суровый, не глядел, что любимица была. Слышала звон, да не знала, где он, кто-то где-то брякнул, что у молодых кровь играет, я отцу-то и скажи, – дескать, у меня кровь играет. Он и взревел: «Кровь играет? Немедленно замуж!» Так и сосватали. Я домой прибегла после свадьбы, а отец отрезал: мужняя жена, а не моя уже дочь, - с тем и отправил. Уехали мы с ним сюда, а когда вернулись к свекрови, та и разделила моих детей на две стороны: это наши, а те нет, ни на одного не ошиблась. Род их с турками был помешан, а эти все беленькие. Тоже у мужа друг был, вот тут-то и была любовь сладкая. Я, конечно, не призналась. А ты - то куда своего разлюбезного сегодня дела? Он ить так и не вышел в двери?» – «Да в окно, бабушка, куда же еще?» – «А как соседи увидят, дошлые до всего. Вынюхивают, вынюхивают, я то помалкиваю». – «А что было делать? Этаж первый, вот через окошко и отправила». Зашел Родион и говорит: «Что же это вы в темноте сидите? Ох, и страшна ты, бабка, чисто ведьма! Ха-ха-ха!» – «Сам ты ведьмак!» – огрызнулась старуха. Не любила его рыжего, а за что и сама не знала.

Но тот уход полковника не остался незамеченным. Людочка приходила к бабушке и выпытывала, не любовница ли Дуся полковнику, на что бабушка ей отвечала: «Чем совать нос молодой в чужую постель, себе бы лучше завела, тогда некогда за чужими приглядывать, оставь эти дела старухам! А Дуся – жена примерная: все у ней настирано, наготовлено, сама в порядочке, да и добрая женщина». Но Людочка это так не оставила, она выследила их, подсмотрела в окошко, в щелочку занавески, кружевной и прозрачной, убедилась в Дусяной неверности мужу и подруге. С тем она и отправилась к Кате. Кате оставалось до родов месяц, живот выдавался значительно вперед, и она уже не уходила далеко от дома, боясь, что вдруг да прихватит раньше времени.

Она стояла у подъезда и слушала, слушала Людочку, дрожа мелко всем телом, опасаясь выдать себя перед ней, но руки не слушались, – прыгая, они не могли завязать угол темного синего платочка у шеи, такой же худенькой, как и сама Катя.

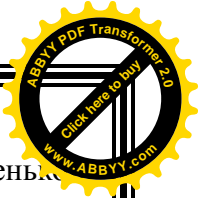
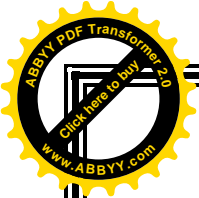
Катя давно уже перестала слышать Людочкины слова, она только понимала, что произошло что-то страшное и непоправимое, случилось это с ней, и виноват Николай, а пуще всех виновата Дуся.



«Вот эта женщина про нее все говорит и говорит, какая она дурная и нехорошая, и ничего не замечала. Сколько раз обсуждали с Дусей, как она будет крестной матерью малыша. А как вместе сидели с ней по ночам перед больной и горячей Оленькой, как Дуся выхаживала ее и, считай, спасла девочку, как она любила всех моих девчонок... Стало быть не только их. Что-то оборвалось, кончилось, прекратилось! Как хорошо, что ушла эта женщина! Ох, как толкается! Я не одна, маленький возвращает меня к ясности, а то какой-то дурман в голове».

Катя не пошла домой, она двинулась по асфальтовому тротуару, вдоль невысоких двухэтажных домов, не глядя по сторонам, она шла тяжелая со своей ношей, а теперь еще и обманутая. И кем? А дети? Что будет с детьми? Она очнулась у ворот церкви. Только в детстве она ходила туда с бабушкой тайком, так как с давних пор это место стало запретное, тем более Коля был на партийной работе, но для нее теперь это значение не имело. Она вошла в темную прохладу длинного с колоннами помещения, где по стенам в тишине на незнакомые ей лики отсвечивали огоньки от зажженных фитильков, опущенных в масло стеклянных плошек, которые держались на потускневших от времени цепочках, и где догорали на медных постаментах подтаявшие разновеликие свечи. В храме было пусто, только неулыбчивые женщины соскабливали воск от прогоревших свечей перед крестом с распятием Христа. Она вспомнила, что надо купить и поставить ему свечку, попросить его о помощи, чтобы не болело так изнывающее сердце, не било тупым концом в голову и подошла к окошечку, попросив свечей на все деньги, которые оказались у нее в кармане. Неумело, на ощупь поискала ниточку на восковом конце свечи, зажгла ее об уже горевшую и расплавленную свечку, и затем только подняла с трудом веки. На нее смотрела Мать с ребенком на руках... Стукнуло от совпадения громко сердце, а внутри утробы беспокойно и сильно заворочался, толчками напоминая о своем существовании ее ребенок, который, не успев родиться, уже оказался брошен. Катя, не отводила глаз от лица Божьей матери, начала рассказывать ей, как близкому человеку, о своем горе, о своей любви к мужу, к детям, о прожитом и пережитом вместе, о будущем малыше, неловко прося защиты у Матери, чтобы отвела от нее беду, и плакала, плакала, став сама, как дитя - беспомощное и несправедливо обиженное. Катя увидела, как на нее смотрят из необъятной дали и глубины глаза, сквозь спокойствие и мудрость, наполнившиеся ее болью, и ей стало казаться, что ее слушают и слышат, что она в окружении светлого облака, впитывающее ее удручающие причитания, что все страшное – не так страшно. Она ставила свечи во все свободные черные пустоты подсвечников, пока они не закончились. Засияла над звездой Материнского платка дорожка ярче обычного – для нее, для Кати. И Катя поклонилась иконе по древнему обычаю, чего никогда раньше не делала, и не знала, как это правильно делается, да не смогла понижее, а только качнула головой вперед. Она задышала ровнее и спокойнее, увереннее пошла ноги, мысли наполнились заботами о детях, об оставленных делах и беззлбно подумала Катя об измене мужа.

Дуся на эту ночь ушла ночевать к своей матери в слободу, названную Луговое, которая располагалась в низине города, и надо было пройти по мощеной булыжниками дороге, спускающейся под гору, а потом миновать почти весь поселок одноэтажных, схожих и крепких домов. Дусе уже сказали, что ее роман с полковником перестал быть тайной, и воздух вокруг нее наполнился оговорами, презрением перекошенных улыбок и недобротой пристальных глаз. Она торопилась как никогда, и, как никогда, низко опустила голову, чтобы ее нельзя было узнать на улицах. Женщины в слободе стали собираться небольшими группками у ворот своих домов, и среди них можно было заметить Людочку, говорящую и беспокойную. Еще не стемнело, и солнце последними



уходящими лучами размалевывало прибившиеся к окоему тучки, золотило тоненькую полоскою края, приглушая их багрянец. Собиралась толпа разъяренных и воинственных женщин. Вооруженные палками и камнями, они громкоголосо двинулась в сторону дома, где оставалась на ночь Дуся. Толпа разрасталась, становилась все гуще и гуще, и все сильнее раздавались в ней выкрики грязных ругательных слов. «Шалава!» – было еще не то сильное выражение, от которого можно содрогнуться. Эти натруженные в каждодневных заботах женщины встали на защиту не столько беременной Кати – здесь гнев их мог быть справедливым, – сколько своих домов, своего жизненного уклада, своей правды. Их вели: упорная верность пьющим, бьющим, обижающим и унижающим их мужьям; неизбежный страх перед безотцовщиной, перед сиротством детей в войну; а пуще – перед бабьим одиночеством, узанным ими не понаслышке. В толпе немало было вдов, которые тянули жилы за мужика и за бабу, растили детей в одиночку. Не было ни одного голоса в защиту Дуся.

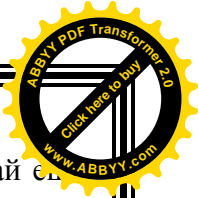
Женщины окружили дом. И камни, сначала робко, редким стуком полетели в окна, как первые звуки грома перед грозой. Они были пробными до первого разбитого окна, пока не зазвенело оно и не посыпалось битым стеклом, – и тогда палками в злобе стали колотить бабы по окнам, разбивая их вдребезги, и выдуло наружу кружевное ришелье, расшитые вручную занавески. К ним вышла Дусина мать, немолодая, полная, с выпуклым животом, на котором был повязан высоко под большие свободные груди, льняной белый фартук. Она была их давней соседкой – рядом прожиты многие годы, вместе ждали детей и мужей с войны, – и она стала увещевать их: «Бабы, опомнитесь! Что она вам сделала? Она ваших детей принимала, когда вы их рожали. Ты, Галя, ведь умирала, а она и тебя, и ребеночка спасла! А ты, Стеша, с ума что ли сошла? Все уже забыто. Как она тебя на себе таскала, когда ты кровью истекала?»

Но задние не слышали о чем там шли переговоры, надавили, оттолкнули мать, и ту Галю, и ту Стешу и ворвались в дом. Они рвали на Дусе волосы, били ее палками, топтали ногами как последнюю гадину, и, наверное, убили бы, если бы не мужья. Мужики ворвались в разъяренную толпу женщин, хватили за руки своих благоверных, еще получая от них удары, тащили их в стороны и пока, один не окатил самых ярых из ведра колодезной ледяной водой, не могли остановить это жуткое побоище. Дуся лежала без сознания.

На другой день ее привезли домой с перевязанной головой, на руках и ногах темнели черные полосы, лицо было опухшее и с синяками. Только глаза ее все еще чуть посмеивались, она не плакала и не жаловалась. Она лежала забинтованная в своей комнатке, когда ей пришла Катя, и подруги не узнали друг друга. Дуся смотрела на ее испорченное пятнами лицо, на ее огромный живот и, с трудом поднявшись с высокой постели, встала перед Катей на колени, обняла ее за ноги и шепотом просила: «Прости ты меня окаянную, Катенька! Не жалея, только прости! Не хотела я причинить тебе зла, а вот получилось...» А Катя с болью глядела на свою любимую подругу, на побитые руки и плечи, на ссадины и кровоподтеки и, сожалея, но не касаясь ее, отстраненно говорила: «Мы уезжаем. Я за тем пришла, чтобы ты с Колей не просталась, не виделась, не трогала его больше! Я прощу, если ты мне пообещаешь?» – «Да, обещаю».

А поздним вечером, под ливневым дождем стояла Дуся, прижавшись к своему полковнику, под шквалом его прощальных поцелуев, под шепот взаимных безумных слов, в которых не было больше загада на встречу, а только: «Прости», да «Прощай». – «Мне больно не от побоев, это заживет, а вот Катю я обидела да детей твоих. Ты их береги».





– «Дети, Дусенька, растут, Катюшу я тоже не брошу, а вот тебя навек теряю... Дай еще разок твою губку поцелую нежно, нежно, как уж никто тебя целовать не будет. Хочешь – всех брошу и с тобой останусь? Не плачь, а то видишь, я тоже плачу». И целовал ее лицо, целовал, расставаясь, как умирая...

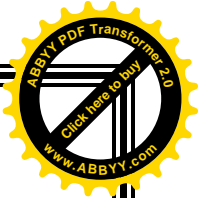
Родион появился не сразу, он был страшен, кричал дико и размахивал огромным ножом: «Убью!» Нож прыгал и сверкал в его руке яростно и неумолимо. Дусю спрятали у себя соседи.

Его арестуют после того, как он сбросит Дусю живую в колодец, подкараулив ее одну во дворе у ее матери. С переломанными ногами она долго будет ковылять на костылях, а потом еще дольше ходить с палочкой, но не бросит своей любимой поговорки: «До свадьбы заживет!» – и со временем оправится окончательно. Только будто потухнет, повянет, постареет душой. С работы ее уволят за несовместимость морального облика и занимаемой должности. Людочка будет хлопотать, чтобы Дусю выселили из квартиры, и собирать для этого подписи, на что Дусина соседка, занятая своей многодетной семьей и работой и очень далекая от всяких сплетен, скажет: «Дуся моих детей не раз лечила, а недавно Шуру спасла, у той воспаление легких было, да разве у меня одной? Она хорошая женщина. Конь о четырех ногах – и тот спотыкается, а тут живой человек. Не нам ее вину мерить, Бог ей судья». Людочка ничего не добьется, Дуся останется проживать в своей комнатке, но потом начнет пить, сначала не заметно для всех, скрываясь от людей, затем все сильнее и чаще, и походка ее станет тяжеловатой, с раскачиванием.

Пройдут годы, но Дуся, Дусенька, Евдокия Петровна, не забудет свою грешную любовь, и после рюмочки белой и горькой водочки, откровенничая, будет утверждать свою правду: «Вот все в округе говорили про меня «криворотая, криворотая», а мой Николай меня так любил, по бедовой губе от всех отличал, а уж как целовал! Мужчина так устроен, он любит женщину, – и тогда ради нее он своих пятерых детей оставит, а чужих хоть десяток будет воспитывать. Только мы женщины разные бываем».

Е.А. Гусева-Рыбникова





## ЗРЕЛЫЕ КАШТАНЫ

– Алло! Алло! Кто? Варя, ты? Откуда? Да! Да! Да! Хорошо, встречаемся у Финдландского, у входа в метро, где всегда! Не опаздывай надолго, в четыре, хорошо! Я буду ждать – Ия Фроловна повернулась к сотрудницам по отделу и, сияя от радости, сообщила:

– Приехала студенческая подруга, в командировку на три дня, Варвара! Пятнадцать лет не виделись, пятнадцать лет! Как уехала после института с мужем в тьму-таракань на Север, к белым медведям, так вот первый раз и объявилась. Вы не представляете, как здорово, что она приехала! Пойду, у директора отпрошусь пораньше с работы. Боюсь, не отпустит.

– Ну что вы, отпустит. А нет, так мы вас командидуем куда-нибудь, прикроем, если что!

– Девочки, как я выгляжу? Не очень-то постарела, подурнела? У кого косметика хорошая, одолжите!

Ия Фроловна попудрилась, удлинила тушью ресниц, подвела карандашом губы, чтобы не вылезала за черту помада, и сказала:

– Ну, я готова! Она меня помнит молодой, не хочется разочаровывать.

– Что вы? Что вы? Тридцать семь лет, какие это годы? Вот моя бабушка говорит, что другого возраста не желала, если бы все назад, – щебетала юная Аллочка, протеже директора.

– Я и сама в этом возрасте не прочь задержаться, – ответила Ия Фроловна, начальница планового отдела.

Ия, высокая, в длинном с мягкой драпировкой пальто, шагала через парк по хоженной-перехоженной с детства дорожке, а с обеих сторон высоко золотым огнивом горели кавалькады тополей, они щедро сыпали с макушек наземь подкопченное золото осенней листвы под простуженные трели ветра. «Если сложить жизнь, то сколько раз будет по пятнадцать лет? Четыре-пять – это оптимально. Как мало, если все хорошо, и, наверное, много, когда приходится плохо. У меня годы, тьфу, тьфу, – без проблем: замужем и две дочки, руковожу отделом, вот что значит бывшая спортсменка. Ах, какая осень! Будто солнце на листьях млеет, а осень- транжирка разбазаривает кипень свою по аллеям! Вон какое золотое сердечко забилося в щель коры и торчит бочком, от ветра потрескивает. Ха-ха-ха, вы посмотрите, воробьиха только зернышко найдет, а малый тут как тут, пищит и рот широко открывает. Делать нечего, вкладывай ему, голубушка, в рот находку. Она от него, а он-то за ней, ничего не дает проглотить, вот нахал».

– Тибе не погадать, красавица?

– Мне? «Вот еще цыганки не хватало!» – подумала Ия. Она блеснула своими смоляными глазами, тряхнула модным смоляным каре и ответила:

– Разве не видишь, что лучше тебя сумею погадать? – и остолбенела, до того хороша была цыганка – лет семнадцати, смугла, светлоока, с улыбкой до кутних зубов, в пестром скоморошьем наряде, – и вырвалось у Ии:

– Какая ты красивая!

Цыганка смутилась и сказала:

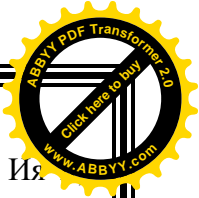
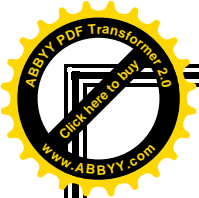
– За доброе слово задаром тебе правду скажу: береги себя, легко можешь потерять силу в ногах! – и быстро прошелестела юбками мимо.

Не прошла Ия и десяти шагов, а ей навстречу, запыхавшись, мужчина бежит:

– Цыганку не встречали?

– Встречала, вон только что ушла. А что случилось?

– Сына в момент обобрала, кошелек утащила. Вот поганка такая!



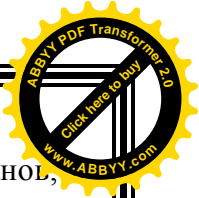
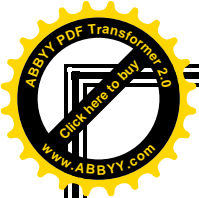
За ним вслед люди побежали. «А мой-то кошелек на месте?» – испугалась Ия открыв сумочку, облегченно вздохнула: обошлось без пропажи. Остановилась под деревом: «Перекурю я это дело, а то чуть не обокрала меня чертовка. Спорт-то я бросила, а курить начала. Как закурю, так и думаю: зачем я спорт бросила? Что это цыганка про ноги сказала? Им в жизни – как на беговой дорожке достается». Потянула сигаретный дым, голову подняла и вновь оживилась: «Надо же! Каштаны висят над головой, скоро падать начнут. А у Вари волосы напоминали зрелые каштаны. Какая она теперь? Будто юность возвращается с ее приездом – легкая, беззаботная и влюбчивая...»

Торопится Варвара, поджигает назначенное время, вот и не ждет она, а обгоняет, стоящих смирно на эскалаторе пассажиров метро. Бегут по едущим ступенькам вниз быстрые ноги. Вспоминает на ходу, как любила она студенткой рассматривать носы у проезжающих чередой людей, и их не схожесть ее сместила. Теперь смешно, что ей это нравилось. Вот и электричка! Ей в сторону Финляндского, там, у входа будет ждать Ия – узнают ли друг друга?

Два огня-глаза вспыхнули в черной дыре тоннеля, и притормаживает со стоном гигантская зеленая гусеница, переливаясь боковыми неоновыми стеклами. Двери, как душа, сами нараспашку, и торопятся ноги ступить в вагон, перешагивая через провал между платформой и дверью. Еще не час пик, когда набивается столько народу, что держаться за что-либо или кого-либо не приходится, так как плотная пробка из людей затыкает проход, исключая всякую возможность переменить положение. В вагоне светло и просторно и есть даже свободное место, на которое и села Варя.

Напротив сидят люди и смотрят безучастно в никуда, некоторые читают. Она тоже решила напустить на себя этот взгляд в никуда. Как давно не качалась она в вагоне с отражениями в блеске черных зеркал! Этот город был ее любовью, и она ощущала хребтом и кожей его своим, совместимым и совместным. И все-таки, однажды оставила его ради мужа и назад не может вернуться, вернуться... Приехав сюда, впитывала Варвара не только сусальный блеск шпилей и куполов, элитарность и изысканность мостов, но и пыль мостовых, и белила с арабесок зданий, и темень Невской воды над звездами водорослей. Ничто не портило ее настроения, даже кошмарные мучители-комары по ночам в гостинице.

«Какой странный сидит молодой человек, то ли он, то ли она? Брюки, куртка, кепка. Шея накачена, а в ушах металлические серьги, руки крепкие, с венами, а на пальцах такие же кольца, нога в кроссовке - для юноши мала, для девушки велика, лицо гладкое, а скулы широкие: толи с пушком, толи без, не разглядеть, как и грудь, по малости размера. Нет, не понять, кто же это – он или она, скорее оно. Пусть будет Оно. А в метро все еще целуются, как и в нашей юности, – голубиные пары. Юные, даже Оно, всегда красивые... Какая же теперь Ия? Ноги у нее были непревзойденные, еще бы – бегунья. Видела однажды ее на стадионе, на первенстве студенческих игр, бежала она четыреста метров – это было зрелище! Сильные мышцы толкали ее ноги, и те неуловимо мелькали впереди коленями. Жаль – не победила, но великое дело – стремление!..» Занятая своими беспорядочными мыслями Варя неожиданно учуяла запах: пахло дымом костра неправдоподобно ясно. Потом запах улетучился, но затем она снова уловила этот горьковатый жженого древа дух, который тонко перебивал береговой свежестью сухой, спертый, машинный воздух. Ощущение удовольствия от дыма костра удивило ее эхом, еще неточным, будившим что-то непрошеное и забытое, какую-то привольную, степную тягу. Рядом сидел мужчина, и это от него повеяло костром, да так густо, насквозь! Она решила посмотреть на соседа, и, будто невзначай, повернула голову. «Ну, так и есть –



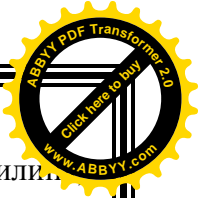
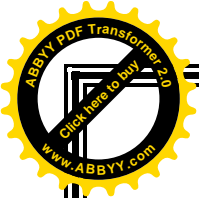
едет, верно, с рыбалки, одет в куртку с несчетным количеством накладных карманов, бродовых сапогах, с большим рюкзаком, привалившимся к полу между ног. А сам-то какой огромный, с толстым животом. Наверное, на двух сиденьях сидит, но все равно ехать с ним рядом приятно...»

Федор Сергеевич действительно, возвращался с рыбалки, на которую его вытащили старые друзья. Они поехали под Лугу на форель, потому что сохранилась там чистейшая с каменистым дном быстрая речушка, и в этих ключах они, поднаторевшие за годы в мастерстве, ежегодно ловили серебристую рыбку, соревнуясь, кто удачливее и ловчее. Это была не только добрая встреча, там он преображался, становился вновь мальчишкой – заводным и смешливым балагуром, не поющим, а орущим песни у костра. Он запросто готов был раздеться и нагишом гонять по холодной земле, чтоб пятки горели, да закалка здравого смысла урезонивала его стихию, но вот буйная радость еще долго не проходила и в городской жизни. В этот раз поездка оказалась для него иной: склонились бесцветно травы, не поддалась ветка рябины – гнулась, гнулась, дразня оранжевыми гроздьями, а не треснула под рукой; не нашел грибов – лишь встретилась одна полянка с лисичками, да и та оказалась усыпана мелкими детенышами, которые и в руки невозможно взять; сосновый лес, будто ежей, выставил перед собой сучья на стволах, и, наконец, – невероятно, но он провалился в болото. Федор Сергеевич знал, что здесь раньше болота не было, а теперь в небольшой пойме, закрытой валежником, под переброшенным бревном внизу выросла трясина. Он пришел за валежником для костра и встал сапогом на бревно, и вот трясина цапнула и захватила ногу, подсасывая все выше и выше. Хорошо, что он заметил сразу, да силы имелось немало, и опора у другой ноги оказалась прочной. Однако напугался! Что это? Как от прокаженного все от него отвернулись! Форель не шла к нему в этот раз, и Федор Сергеевич решил, что лучше будет взять ее на утренней зорьке. Когда все улеглись спать, он сказал, что останется у костра дежурить, потому что ему хотелось побыть одному в тишине.

«Я, главный инженер химкомбината на Охте, профессионал и специалист со стажем, как никто отвечаю за весь технологический процесс и все техническое хозяйство завода. Вот уже третий раз министерство откладывает плановый капитальный ремонт, назревший по всем срокам и по состоянию оборудования, агрессивность среды разъедает колонны и резервуары, в воздухе аммиака и серной кислоты выше всякой нормы, ремонтные бригады работают только в аварийных режимах. Сохранностью оборудования заниматься некогда, ремонты остаются на бумаге. Рабочие требуют повышения зарплаты за такую сволочную работу, а фонд зарплаты зависит от выработки, а отчего ей расти, если давно работаем на полную мощность. План надо выполнять, чтобы министерство получало знамена, чтобы кой-никакую, а премию выдали инженерам, чтобы система имела благопристойный вид. Но что жду я впереди? Взрыв!!! Это когда отделиться труба и полетит самостийно ввысь, а дым заклубится огромным ядовитым облаком, приборы с пульта управления брызнут во все стороны, тогда в этой кутерьме исчезнут люди! И я соучастник этому, главный ответчик! За рыбой приехал, а сколько я ее сгубил!»

Костер горел маяком в темноте, а он разжигал и разжигал его, подкладывая валежник. «Гори, костер, гори, мне не хватает твоего огня! Надо ехать в министерство – требовать остановить завод. Страшно, если снимут с работы, но дальше будет хуже, а хуже уже некуда!» Он огляделся, туман переполнял пойму реки и выползал на слепой берег белым каждением.

«Тайная жизнь земли дышит еще там, где ненормальная наша неумность ей не знакома, где не приходится ради ложной цели, оправдывать средства. Ночь, и все спят, а я



слышу перекаты воды по камням реки, уговоры ветра в лесу, гул костра и крик филина, что берет меня на испуг». Федор Сергеевич посмотрел вверх на звезды и ему – нет, не показалось, это узрел, как все звездное небо шарахнулось ввысь, подальше, повыше! «От меня? От меня! Звезды отшатнулись от меня... я, человек, частица всего мира, покорию и землю, и воду, и небо – видимый летит среди звезд спутник, – а стал чужим всем, а более всего – себе самому. Грызю пуповину своей общности с единой сущностью мироздания и истекаю собственной кровью...» Он зажал пальцами глаза, и стал давить на них до боли под веками. Он плакал.

Влажными глазами вновь посмотрел на небо – и, слегка дрожа, начал опускаться Млечный путь громадой алмазной жилы и встал ниже звездного колпака непоколебимым мостом. Федор Сергеевич почувствовал облегчение, а сердце неожиданно зашло: то громыхая, как по наковальне, то замирая почти до остановки. Стало быть, мы не одни? Что-то есть больше нас? Неужели Бог?..»

Он просидел у костра почти до утра, и на зорьке крепко спал, а улов достался друзьям.

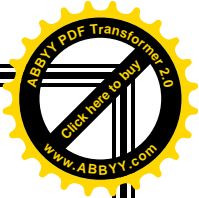
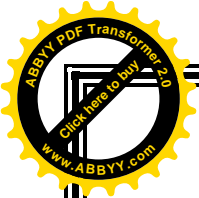
Рядом села женщина, задела вскользь его зрелыми каштанами волос, он смутился, почувствовав неловкость, потому что совершенно провонял костром, и ей это вряд ли приятно – вон как водит ноздрями. Он потерпел немного, потом встал и отошел с рюкзаком к двери, через которую не было выхода. Варя больше не ощущала запаха дыма, будто пропало обоняние. Она посмотрела на Него, непонятно зачем ушедшего к двери: «Может быть, он уже выходит?» А он, заметив ее вопрошающий взгляд, подумал: «Глаза, как ряска на болоте, так и засасывают». Она поняла, отвернулась и расстроилась: «Зря он так! Мне ничего не нужно, вот только запах костра чем-то тронул, да песня душеньку томит: летят утки... летят утки... да два гуся... кого люблю... кого люблю... не дождуся...»

Больше в его сторону она не поворачивалась и, к его досаде не заметила, когда он выходил, она думала о подруге. «Когда-то давно Ия ткнула меня под грудь пальцем и спросила: «Что там у тебя сидит? Я знаю, что-то есть!» Я ей тогда не ответила, а сейчас могу: «Провинциалка! Неистребимая провинциалка!»

А он шагал по родному городу, несоразмерно большой, с увесистым рюкзаком на спине, не замечая прохожих, в спешке подталкивающих его, и неотвязно видел ярко-желтый ее шарф. Он заметил его под черной и крупной пуговицей, – будто намалеванный на черном сукне пальто, легкий и прозрачный, как лист с дерева, который он нес в рюкзаке для дочери. «И вовсе не похожи ее глаза на зеленую ряску болота, зря я так, скорее в них папоротник цвел. Я такую женщину только, может, во сне видел, а теперь она – навеки мимо. Если бы я костром так не провонял!..»

... Они узнали друг друга сразу, и обе, не став за жизнь чопорными и важными, порывисто обнялись, целуясь и радуясь долгожданной встрече. «Ты прекрасно выглядишь...» – «И ты!» – «Совсем не постарела...» – «И ты!» – «Слушай, Варя, а что это от тебя костром так несет? У тебя волосы гарью пропахли!» Варя тронула роскошные волосы руками, подержала их на весу, тряхнула и отбросила, как бы развеивая золотое дыхание тепла. С дерева посыпались им под ноги зрелые каштаны. Осень. Червленая пришла осень.

Е. Гусева - Рыбникова



## КАПЛЯ В МОРЕ

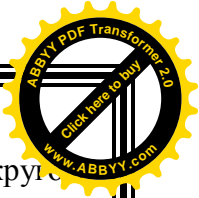
День наступил, но солнце не могло пробиться сквозь густые глыбы облаков, а только выбелило их, и они стали похожи на соляные копи, повисшие над землей, отчего день напоминал с самого утра вечерние сумерки. В такой день, ничего важного лучше не начинать, и давние дела не дождутся завершения, потому что в нем не было бодрящего фейерверка света, в нем не было даже будораживающего возбуждения ветра перед непогодой, а разило равнодушием и к ведру, и к буре.

Сегодня выходной. Можно отоспаться, но в выходной внутренний механизм срабатывал автоматически, не разбирая дней недели, не деля их на рабочие и праздные, ему не объяснишь, почему, если пять дней в неделю человек поднимается в шесть утра, то на шестой, надо встать в девять? А может это привычка – инерция, подчиняясь своим законам, повторяет и повторяет заведенную программу, пока длительная усталость, будто трение при торможении не свалит с ног. Адам проснулся рано и был недоволен, что сна уже нет, – в ту пору, как все домочадцы продолжают сдавать «экзамены на пожарников». На удивление – им не мешают посторонние звуки. Вот сосед под окном заводит и только что купленный «Мерседес» давнишнего года выпуска, а рядом с ним заливается в бешеном лае его маленькая намешанной масти собачонка, а вот вывели гулять овчарку, которая, похоже, сцепилась с дворовыми псами и оглашает двор хриплым рыком, а наверху кричит и матерится в пьяной саморазрушающей ярости, вернувшаяся с ночных заработков сорокалетняя «путана», и в ее брань пробиваются всхлипы плачущих, отчаявшихся детей. Он подошел к окну и повернул жалюзи. Свет слабо пробивался в щели, тогда он их поднял и увидел, будто на плохо проявленной черно-белой фотографии, отпечатки ретушированных деревьев с голыми ветвями и сучьями, подтаявший серый снег и ворона, синющего своими парчовыми крыльями, невозмутимо вышагивающего по графитному газону и постоянно демонстрирующего ударами клюва, что пищи ему во дворе хватает. Бежит овчарка почти лошадиным галопом, – угольная, только около лап серебрится шерсть, и наконец -то, поехал со двора желтый «Мерседес» соседа.

Решил сразу: надо ехать в деревню и посмотреть, что там делается, да и жене пора подышать морским воздухом, а то за последнее время изменилась она, не узнать в ней прежнюю жизнерадостную Еву, кажется, что живет она из последних сил. Из-за нее Адам в деревне начал строительство дома, почти на берегу моря, но дальше фундамента дело не двигалось. Его помыслы, силы и время забирала работа. Фабрика была его детищем. Он ее создавал, собирал людей, запустил производство и теперь она, как живой организм, требовала каждодневной заботы, умного порядка, расходов, чтобы люди могли кормить свои семьи. А для этого его черепная работа не знает передышки. Давно уже не действуют законы ни капитализма, когда производство работает для прибыли, ни социализма, когда работали на лозунг: «Для обеспечения растущих потребностей трудящихся». Сейчас работа есть, товар есть, а денег за него никто не платит, и вот уже четвертый месяц не может он выплатить зарплату рабочим. Вчера выдал аванс: сбережения собрал у друзей, у главного и свои отнес, потому что упал у станка рабочий в обморок от голода, две недели питался водой с сахаром и хлебом, лишь бы в семье денег не брать.

«Это жена по-книжному умеет выражаться, что живем мы во время, когда Медный змей нагло поднял голову на вершине горы и заставляет всех ему повиноваться, потому что душит он всякого, правого и неправого, кого концом хвоста запутал, а кого держит за горло. «Душечка Попов» громче всех кричал, что за труд надо платить много, а что вышло? Всех бы этих крикунов одной веревкой за ноги связал и вздернул! Воровали в России всегда, но чтобы труд у рабочих спереть да чтобы все было шито-крыто, о таком





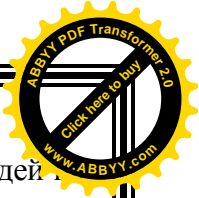
разбое до сего времени не слышал, но Москва в конце века сумела! За работу крутятся должны, но бесполезно требовать долг! Без стыда кукиш суют под нос! Суды решение принимают, а исполнители чихать на них хотели. Налоги по зачетам отменили, а стервятники уже кружат, кружат около, ждут, когда поумнею. «Деньги не пахнут» – вот что сегодня важно, даже для рабочих, гегемона, бегут к тем, кто вынимает из кармана зеленые, и готовы продать свою шкуру, лишь бы подороже, не боятся, что ее будут дубить за дубленки для дочерей. Выискала моя заумная жена, что живем мы в последней затухающей стадии природного процесса развития этноса, в период его агонии. Просит у Бога мужества. Молится – за меня, конечно, молится, а ведь какая была женщина! А может и хорошо, что молится она, а то бы я сам завопил: «Господи! Помоги!» Но я мужчина. Всем пора вставать!»

Бежит черный «СИАТ» по дороге к морю, маленький с виду, но подвижный, легкий в управлении и довольно комфортный внутри, нет в нем никакого излишества, ничто не отвлекает от дороги и водителю не прибавляет дутого шика. За рулем – Адам, в темной бороде пробивается лунными дорожками редкая седина, синие глаза сосредоточены, потому что под колесами разбитый за зиму асфальт, который ежегодно обнажает безмозглость дорожных служб или их злонамеренность, вновь зияют ямы и щербатые заплаты, наскоро приляпанные в осеннюю непогоду, когда рабочие лопатами швыряли асфальт в воду, выбрасывая и закапывая до весны бешеные деньги, – похоже, жгли они кое-что, если можно распорядиться ими без жалости. Нарастает раздражение. Адам приглушил музыку в приемнике, мужской тенор сладкозвучно и упоительно пел «Ай, лав ю», он поставил кассету Марио Ланце для жены, а она не слушает, что-то все рассказывает внучке Манечке, которую тоже взяли с собой на море. Он умел делать сразу несколько дел - вести машину по раскуроченной дороге, видеть боковым зрением происходящее на тротуарах и возле домов, и слышать, кроме музыки, болтовню на заднем сидении.

Манечке – четыре годика, она резвая и шаловливая, как молочная козочка на вольной лужайке, видно, влияло созвездие Козерога, под которым она родилась, а еще она унаследовала дедушкины синие глаза, жадно познающие окружающий ее мир, задает множество вопросов и стойко выслушивает бабушкины рассказы. Проскакивали мимо глаз частоколом деревья, каждое будто торопится отпихнуть соседа пространными лапами и занять его место, а там уже подлетает другое, такое же большое и темное. Вот, проезжая пустые, до горизонта обнажающие грудь из-под снега поля, Манечка не увидела на знакомой картине пасущихся коров и закричала, прижимая нос к окну: «Где коровы? Где коровы?» Бабушка поняла, что внучка помнит лето и пастбища пятнистых, черноухих коров на лугу. Бабушкой была Ева, жена Адама, - большая выдумщица и говорунья, она усадила Манечку к себе на колени, лицом к окошку и начала рассказывать:

«С тех пор, как появились на Земле люди, поселился здесь и король, которого звали Крон. Он один умел считать время, так как заодно с ним были солнце и звезды, которые подсказывали ему и год, и месяц и час. Были у него четыре дочери. Старшую, – безупречную, надменную и сердитую, звали Зима. Вторую – она родилась после Зимы, – вечно юную, полную надежд и первоцвета, звали Весна. Третью, – жаркую, благоухающую, плодovitую, – Лето, а последнюю, – урожайную, изменчивую и плаксивую, – Осень. Пока король был молод, он по своему желанию усаживал их на свой трон, и чаще царила на троне его любимица Лето, а с нею, но меньше – Весна и Осень, а Зиме почти не доставалось отцовского времени. Постарел Крон, и надоело ему время хранить да считать, стал он частенько похрапывать да на звезды забывать поглядывать. А были у него советники, как у каждого короля. И однажды прилетел к нему главный





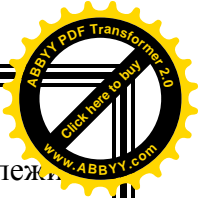
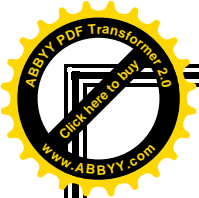
советник, Филин, давай будить, расталкивать: «Проснись, король, дочери твои у людей в глазах перессорились, переругались, а пуще всех старшая твоя дочь Зима лютует, никому трон уступать не хочет, всех сестер заморозила, а с нею и люди погибают от холода и голода. Протер глаза Крон, быстренько на солнышко и на звезды глядит, снова подсчет ведет, время вычисляет, – понял, что долго же он проспал, да делать нечего, время назад не вернешь. Появился перед дочерьми, а Зима с трона уходить не собирается, на отца ругается, попрекает его прошлой немилостью. Король Крон дал ей слово, что будет поступать по справедливости и ее, старшую, не обидит. Вот только тогда Зима слезла с трона и опять наступила Весна. Крон с той поры установил, что каждой сестре занимать на троне по три месяца, а очередь установил по старшинству: после Зимы – Весна, затем Лето, а последняя – Осень. Дочери согласились, и Крон дальше спать пошел. Старшая Зима с Весной часто спорят, однако наказ отца выполняют, и Зима все же уступает Весне правление, хотя и без охоты, потому что боится, что ежели отец проснется, то за послушание совсем лишит ее доли на троне восседать. Вот сейчас ее пора, на улице стоит Зима, но Весна уже недалеко, тает все потихоньку. А люди, теперь уже наученные Зимой, летом травку косят, сушат, запасают сено, а как времечко для Зимы придет, коровок в хлеву держат да летней травкой кормят, на улочку не пускают. Боятся зимней лютой, а вдруг да коровушку-кормилицу заморозит, деткам молочка не будет, каши утром не придется сварить, силенок подрасти малышам не хватит. Понятно?»

– Бабушка, а куры не спрятались! Не спрятались! Зимы не бояться? – громко кричит Манечка. За окном промелькнули копошащиеся у дома куры, а с ними пролетел и петух, только хвост брызнул малиновыми и золотистыми перьями.

– Будешь дальше слушать?

– Буду! – прижалась Манечка к бабушке, и ласкается пушок от ее волос к Евиной щеке, согревается от взаимного тепла маленькая ладошка.

«Ну слушай. В небольшом доме на косогоре, жила-была женщина и любила она разводить курочек, а больше всего ей нравилось, что курочки приносили ей яички, которые она могла продать, а на вырученные денежки купить своему сынишке Петруше обновки, а может быть, даже выполнить его желание и приобрести синие лупатые джинсы. Зимой курочки всегда меньше несутся, а тут новая беда: в коробчонке, что без замочка, в скорлупке, значит, вместо сметанки с медком, – одна сметанка белая болтается, стали яички совсем без желтка. Вот женщина и надумала, что это у нее петух плоховат, трепет хохолки у курочек, а они от обиды не красят медок в желтый цвет, и решила она того петуха зарезать на суп, а нового молодого и красивого купить. Прознал про то ее сынишка Петруша, да так жалко ему стало петушка, ведь не раз летом на травке встречали друг друга, из руки у него петух зернышки клевал, по утрам горластые песни распевал, и красив был петух – в одном хвосте вся радуга размещалась, а на голове оранжево горели у него, как начищенные ботинки, перья. Пошел он в сарайчик к петушку, а тот уже сам все узнал, сидит на жердочке, пригорюнился, плачет тихо по-петушину. Подошел к нему Петруша, свои слезки вытирает, а петух через горло так и заговорил человеческим голосом: «Кыр, кыр, потеряли мои курочки в земле золотую крупку, скажи матушке, чтоб выпустила поискать». – «Дак ведь зима, холодно будет курочкам». – «А я с ними буду по проталинкам, по кучечкам скрести, авось и найдем». Побежал Петруша к матери, кричит и плачет: «Матушка, дозволь петушку с курочками на улочке по проталинкам и кучечкам золотую крупку поискать, медок у них от нее и зазолотится, желтый станет!» Видит женщина – сынишка убивается. Жалко сынишку, вот и отпустила курочек с утра в земле золотую крупку искать. Вечером курочки яички снесли, хозяйка для блинчиков яичко разбила, да и подивилась, – желток был яркий, желтый, точно



золотой крупкой пересыпанный. Не иначе петушок место знал, где она в земле лежала. Целый день лапками разгребал, да как найдет золотце, так и зовет курочек клевать, те за ним весь день бегали, вот и опять стали желточки золотыми, в коробчонке сметанка и медок снова соседствуют. А тут художник в гости зашел, как увидел в миске желтки, так и зацокал языком: «Какой колер! Какой колер!» Просит те яички для красок продать, чтобы солнышко на картине рисовать. Женщина и рада радехонька, не иначе золотые яички ей курочки нанесли. «Никому такого петушка не отдам!» А на другой день снова их на проталинки, да на солнышко выпустила. Так и живут!»

– А дядя нарисовал солнышко?

– Нарисовал и женщине той досточку принес, а на ней святая Мария с солнышком вокруг платка, так и сияет золотыми крупками по всей досточке. Взяла женщина иконку и красоте той подивилась, да и говорит художнику: « Вот спасибо, дал ты и мне в руках солнечный лучик подержать, а от него в доме вроде светлее стало».

– Ну, вот всю сказку испортила, – сказал Адам, - Да... а тетю Любу мою родной племянник обокрал, все родительские иконы унес и пенсию стариковскую вытащил, и руки не отсохли, и совесть не заела. Мужу сорок лет, самый сильный возраст, а он обчистил старуху беззащитную и одинокую. Ты бы послала ей денег.

– Уже послала. Пишет она редко и жалуется, что, как былина в поле одинока. Ну, а племянника она простила, от тюрьмы краше не станет. Кто что, на небо глядя, видит. А племянник в святынях предков только водку различил и, видно, прикинул, сколько же он поллитровок на них выпьет, если так спешно иконы сбыл. Хорошо, что тети Любы дома не было, вряд ли бы он ее пожалел. Я ее звала к нам жить, она отказалась, свое место и дом на земле хранит. Это же дом Манечкиного прапрадедушки.

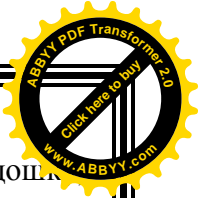
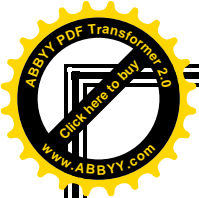
– Бабушка, тетя Люба мне носочки прислала?

– Тетя Люба. Старенькая она уже, маленькая, сухонькая, а хлопотунья какая! Она еще и волшебница. В ней, деревенской крестьянке заприметила я тайну, от природы ли, от характера ли, от веры ли, которую пытаюсь до сих пор осознать, но она как локоток, близок, а не укусишь.

– Бабушка, расскажи!

– Другой раз, мы уже приехали! Надевай, Манечка, шапочку, а то ветерок на море шалун - налетит и продует твои ушки!

Как только ноги коснулись земли, обхватила земля их сочной и смачной грязью, жирно прилипла к сапогам и ботинкам, тянула тяжестью к себе, не давая шагать, чавкала со вкусом, когда ноги, пересиливая ее объятия, становились на новый, нетронутый за зиму, с пожухлой травой, кус целины. Грязь под собственным грузом то выворачивалась и отваливалась шлепками, а то налипала еще большими лепешками на каблуки и подметки. Взрослые выбирали места, чтобы встать на поблекшую, как вдова, травку, но Манечке нравилось причмокивание земли, и она вдавливала свои сапожки в нее, поднимала увеличенную от грязи подошву, с которой плюхалась обратно маслянистая масса, издавая короткий звук. Кругом была желтовато-старого цвета гладь полей, лежащих под паром несколько лет и своими просторами упирающихся в деревню, которая после развала совхоза бросила все на произвол судьбы. Будто выдохлись люди и отвернулись от нелюбимого дела, а может, разрушилась у них уверенность, что это кому-нибудь надо. И вот топают по полю чужие, городские, в лакированных ботинках и кожаных хромовых сапогах Адам и Ева и ведут по нему маленькую внучку. Не уверена в своем выборе Ева, не видит себя хозяйкой деревенского дома, но какая-то сила влечет Адама к земле, и эта же сила заставляла ее идти за ним всю жизнь, тянутся и постигать, а главное – много трудиться. Лежит муравьиной кучкой битый, красный кирпич, который выделяется алым



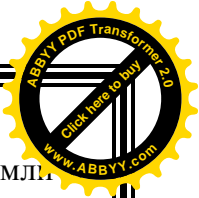
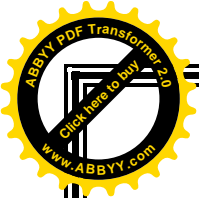
бугром над серой бесцветностью, и не прошла Манечка мимо, запустила в него ладошкой подцепила осколочки, сдавила в ладошке, да, видно, больно стало, рассыпала их у своих ног красным узором. Чем ближе подходили к фундаменту дома, тем больше утопали в грязи, но эта грязь Адама не раздражала, она имела свой притягательный, почти весенний и древний запах.

Адам сразу заметил, что решетки на окнах были кем-то испорчены и рваные края железа торчали наружу, а некоторые вовнутрь. Пытались, видимо, их выдрать, но решетки оказались прочными, а может быть, кто и спугнул охотников до чужого, но слово «воры», как неизбежность, было произнесено. Слово понравилось Манечке, и она, негромко приговаривая: «Воры залезли, воры!» – почти схватила торчащие штыри ручонкой, если бы Адам не перехватил ее своей у самого края. Он прошел внутрь и по-хозяйски проверил – все ли на месте: инструменты, цемент, доски, черепица, не набралось ли воды в подвал, – и остался доволен, что остальное было не тронут. Прибавилась забота, надо менять решетки, но ничего не украли, уже хорошо.

А Ева шагнула, да оступилась и, пошатнувшись, схватилась руками за грубый угол серого фундамента, на миг перестала слышать голоса, перестала присутствовать со всеми, поплыла в другое измерение и перед глазами увидела в доме возвышение: *на кирпичной, как Манечкин узор на земле, печке, жаркой и доброй, которую топят березовыми поленьями она, счастливая Ева, сидят на лежанке развеселые детишки, и у всех синие глаза Адама, а старшенькая, Манечка, веселее всех озорничает...* Миг – и нет ничего, только дума осталась: «А сколько же их там было?» – и другое: «Неужели я буду печку топить, я же не умею! Хотя в детстве у нас дома печку топили, хорошо было нам, тепло и уютно, пахло жареными сухарями и жженым сахаром. Печка огнем брюхатая, теплом тороватая, княгинюшка в доме, хозяйку в прислужницах держит, всех накормит и обогреет... Для такой жизни у меня нет сил, я и так уже спотыкаюсь», – вывела она в заключение. Но не знает человек, что ему Бог позволит исполнить в жизни, и на что даст силу, а от чего отвернет.

Выбрались Адам, Ева и Манечка на дорогу и стали отмываться от земли в мелких лужицах, которые, как блюдца, наполнились первой талой водицей, и поплыла в них разводами земляника взвесь, то оседая, то взбаламучиваясь от рук, заполняя собой воду плотно и густо. Ева мыла Манечкины сапожки, и больно сводило пальцы от вешней воды, на которой только что растаял ледок. Они пошли в сторону моря через деревню, и тут же Манечка спросила, показывая на теплицы протяженностью с хороший квартал города, сквозь разбитые стекла которых, ощерившиеся штыками разнокалиберных острых концов как сверху, так и с боков, видны были отопительные трубы: «А там кто живет?». – Посмотрел Адам на разгром, и ответил коротко: «Теперь уже никто. Только ветер».

Справа вдоль дороги торчали грибами низкие одноэтажные домики, огороженные неровно щербатым штакетником, с перевернутой по осени землей, которую пятнал подтаявший черно-бурый снег. Его в этих краях никогда не бывало много, но к концу зимы он тем упорнее держался, дабы не забывали, что зима – госпожа этим дням. Слева шли заброшенные строения ферм, сараев и на холме красовался огромный, раскидистый и величавый даже в эту пору вяз. Его крона тянулась голыми сучьями ввысь, и, глядя на него, невольно засмотришься на небо, которое заголубело лунками в матовой пелене, и солнце блистало через них, то появляясь, то вновь скрываясь в отлогих облаках. Манечка держала за руки Адама и Еву, но это мешало ей двигаться по собственному желанию, она освободилась от их рук и тут же подхватила с земли неотесанную, квадратную, пугающую свинной щетинкой палку грязноватого цвета. Конечно, лучше бы было ее не поднимать, занозистую и никчемную, но Манечка так в нее вцепилась, что решили оставить ей палку,



и лишь надели на руки перчатки. Манечка подошла к вспученному выступу земли, начала засовывать в мягкое его тело свою квадратную палку, заталкивая ее все дальше и дальше, пока не уперлась в твердыню, и лишь затем ее выдернула. Она заглянула в дырку, и увидела маслянистое и мягкое нутро, в котором отпечаталась палка всеми углами. «Что же ты делаешь, Манечка?» – «Меряю глубину земли!»

Манечка долго бы возилась со своей работой, если бы ее внимание не привлекли рябые куры, перья которых напоминали одежду в заплатках. «Бабулечка, смотри – и тут курочки золотую крупку ищут!» – закричала Манечка. – «Нет, эти курочки золотце не найдут», – ответила Ева. – «Почему?» – «У них нет петушка, а только петушки знают местечки, где золотая крупка зарыта, без него куры лишь роют землю без толку».

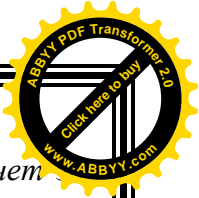
Тихо в деревне и безлюдно, будто заколдована она сном среди бела дня. А вот: – «Смотри, бабулечка, смотри! Кто это?» – красная букашка неподвижно и сухо, поджав лапки, лежала на пне, она выделялась красной точкой, которую Манечка пыталась расшевелить. – «Это божья коровка. Не трогай ее, придет весна, пригреет солнышко и она оживет, проснется и полетит». – «Бабушка, весна еще будет ссорится с зимой, и придется долго ждать! – и Манечка зажала букашку в руке. – Ей тепло, она уже оживает!» – говорила Манечка, открывая ладошку, но ветерок дунул и унес за собой конопатое чудо. Не прошла Манечка и мимо гусей – серых, сытых и крикливых. Они, вытянув шеи, гоготали и шипели, но Манечка, подпрыгнув на одной ножке и взмахнув своей палочкой, которую она не забыла забрать, пропела им: «Гуси, гуси! Га - га - га! Есть хотите? Да - да - да!» А Ева опять на секунды унеслась прочь и увидела:

*... как уже маленькая Манечка протягивает ей палку из ясеня, ровную и крепкую, потому что стоит она, Ева, обняв белый ствол, среди березовой рощи и от слабости не может идти, высохшая от голода, похожая на сброшенный с дерева лист, но шевелилась еще ее живая плоть. Взяла Ева палку, оперлась на нее, как на посох, и пошла, а Манечка ее рядом придерживает...*

А вот и тропинка перед дюнами, но идти по ней нельзя, потому что перекрыла ее свалка пластиковых бутылок, этикеток, блестящих банок и пакетов, которые с прошлого лета нашвыряли городские обыватели по всему пляжу и в придорожные кустарники, попользовавшись морским побережьем, как разбойники, унося на своих плечах загар от солнца, соль от моря, и бальзам от йодистого воздуха, а взамен превращая пляж в мусорный бачок, к которому сами же в другой раз и явятся. Не переваривает брюхо земли материю, созданную человеком, что и в воде не тонет и в огне не горит. Кадит пластмасса хмарью, в которой кумарят беспризорные дети, уничтожая разум – ценнейший дар, отличающий человека от скота. Адам говорил зло и с отвращением. Однако на этом все не закончилось. Они подошли к дюнам, и битые бутылки зеленою осколков преградили им дорогу. Ева вытащила пакет из кармана, и они с Адамом стали собирать в него стекло, чтобы не провалилось оно в песок и не разрезало потом кому-либо босые ноги. Что же происходит с людьми? Что же их так корежит, если бьют вдрызг, ладно, свой и чужой труд, но и лоно свое, которое только дает, убажает и старается порадовать нерукотворной красотой и благодатным эликсиром, – его то за что? Земля и Человек, кто они друг другу, если живут по присказке: «Стерпится - слюбится», – только одна терпит и любит, а взаимности все нет и нет. Ведь Земля – не соседка, не чужестранка, она – та чаша, из которой все мы вынуждены пить, только безумец плюет туда, не заботясь о будущей жажде, но на то он и безумец, потому не ведает, что творит!

Адам уже прошел к морю, а Ева стояла с Манечкой на песчаном косогоре. И вновь, будто, заглядывая в книгу да наперед, увидела Ева:





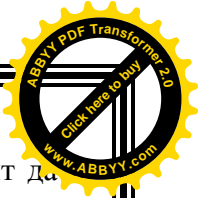
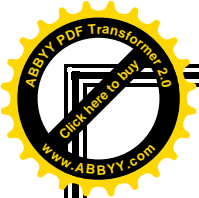
... На этом же месте бежит вниз, отбрасывая долговязые ноги Манечка, и тянет собой ее, Еву, с распухшими ногами, заново обучая и ходить и бегать, а потом возвращаются они, карабкаясь на дюны, держась за уступы и ковыли, чтобы снова и снова бежать вниз...

«Как бы я обошлась без тебя, моя девочка, моя ласточка!» – сказала Ева, прижимая к себе свою первую внучку.

Ну, вот, наконец, и море! Здесь все иначе: перед ними лежит большая открытая раковина, у которой верхняя чаша переливается перламутровыми облаками, с голубыми прожилками в сиянии обьявившегося солнца, а другая ритмично отбивает волнами биение земного сердца и ровными толчками пульсирует по кромке берега, доставая горбы валунов и ленту цветных камней. А между створками повисла дымка, будто шевелят крыльями сонмища розовых стрекоз и делят земное и небесное по всему горизонту. Там можно было разглядеть то появляющийся, то исчезающий в дымке корабль, напоминающий призрачностью «Летучего голландца».

Манечка безоговорочно занялась прибрежными камушками. Ее маленькие ручки не вмещали их, но невозможно пройти мимо желтого, как первый одуванчик весной, белого и прозрачного, как лунный божок, круглого и крапчатого, как птичье яичко, плоских и круглых, как мамины оладушки, и тогда Манечка начала их закладывать в карманы своей курточки. Быстро переполнились карманы, и камни стали выпадать снова на берег, а она, оглядываясь на стук, узнавала находку и снова запихивала в надутые кармашки. Потом Манечка нашла большой серый камень в виде человеческой стопы и поставила его носком к морю, а рядом припечатала и свой башмачок. Адам принес ей в горсти и открыл на ладони янтарные крошки, как гречишный мед, потер их в руках и дал ей понюхать запах сосновой смолки, а она сунув нос в его ладонь, задышала громко и напоказ. «Ты слышишь запах? Пахнет хвоей, слышишь?» – допытывался Адам. «Слышу, но не очень», – смутилась она. Манечка любовалась янтарем недолго, запустила ручонку и забрала себе, но положить было некуда, тогда вылетели на песок ее самоцветы, а янтарики разместились в кармане с удобствами. «Бабулечка, где взяли янтарь?» – спросила Манечка и, не прекращая копошиться в камушках, наострила ушки. Ева начала новую сказку:

«Однажды, в незапамятные времена, на эти места с неба упала звезда, но почти никто не обратил на это внимания - мало ли по осени звезд падает. А недалеко от того места, где упала звезда, жил рыбак, и был у него сын, еще не жених, но уже не маленький мальчик, он-то и заметил местечко, побежал к морю. А вместо звезды девица стоит, и отличалась она от местных только накидкой серебряной да ботиками с алмазными застежками. Вот он и привел ее в свою избу к родителям, а кто она – не сказал, и девица промолчала, только сказала, что брата ищет, который ушел в эти края, да не вернулся. Рыбаки расспрашивать не стали, хлеб да рыбу на стол выставили, а она ест потихоньку да помаленьку, быстро насытилась да поблагодарила за угощение низким поклоном до земли. Подивились рыбаки такому обхождению, на ночь спать постелили, что в доме было, да к себе ушли. А утром смотрят – комнатки прибраны, скатерочка на столе хрустит, девица тихо по дому ходит и со всеми делами управляется. Такая гостья в доме не помеха – расторопная да услужливая, – и оставили ее у себя. Назвалась она Дарией, но люди стали звать ее по местному обычаю - Тария. Растут юноша и девица, а тут и любви время пришло – полюбили друг друга Ян и Тария. Позабыла звездная красавица про брата своего, от трав земных силы набирается, от соленого моря белая кожа меняется. А к рыбакам стала удача приходить, в сетях рыба всегда водится, и дом покрепче устроили. Вот только девушки-соседушки вышивать начнут, по канве у них цветут все цветочки аленькие, а эта дева только звезды и вышивает, а узоров тех никому в толк было не взять.

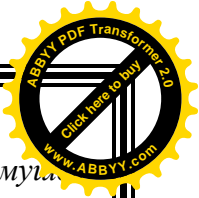


Однажды увидел ее возлюбленный Ян, как на крутом откосе над морем она стоит да небо смотрит и просит прощения за любовь свою земную, что брата искать она давно позабыла. А наутро пошел ее жених рыбачить в море на баркасе, а она тут как тут – свою свою вышивку ему протягивает, просит, коль беда приключится, утереться этим рукоделием. Только Ян в море вышел, налетел ураган и унес баркас в открытое море, смотрит рыбак, а куда править не знает. Тут он вспомнил про рукоделие, открыл его утереться, да и обомлел: все звездочки на нем вышиты и дом родной на берегу под черепицей выписан. Ночью по звездочкам, а днем да по солнышку стал он свой дом искать. А звездная его невеста Тария опять на высокий косогор забралась, на небо глядит и просит, чтобы стала она, как солнце ясное, чтобы издалека жениху любимому виден был причал к дому. Так время и идет. Вот жених к дому приближается, а с берега ему будто солнце полыхает, а что горит, разобрать не может, еще пуще домой торопиться. К берегу причалил, на огонь бежит, а с последними лучами солнца полыхает на круче его невеста, которая стала солнечным камнем. Так сильна оказалась звездная любовь. А у земной любви будто сердце располосовали на мелкие лоскутки, от печали света не взвидел рыбак, да как удариться о древние пески, о морские камни. А дева из солнечного камня от жалости к нему зашаталась, он ее на руки подхватил, понести хотел, как свою Тарьюшку носил, да сила вся в землю ушла, выпустил ее. А она, упав, вспыхнула на солнце и посыпалась из его рук, посыпалась солнечными капельками в море. С тех пор люди этот солнечный камень Янтарем зовут, и собирают кусочки, когда море его на берег выбросит. Первым этот камень, конечно, Ян искал, все улыбку своей любимой девы сложить хотел. – «Жалко их, бабулечка!» – «Любовь, Манечка, иногда печалью бывает, зато янтарики какие красивые у тебя в карманчике лежат, из них, что люди ладить не начнут, все получается на радость.»

Адам, как мальчишка разыгрался с Манечкой, то они по очереди догоняют друг друга, то «блинчики» в море бросают – скачет такой камушек, подпрыгивает на волнах, задорный и веселый, такой же, как и внучка, которая на ножках подскакивает, громким смехом заливается. Глядит на них Ева и думает: «Даня совсем не меняется, ему не внучку, а дочку такую иметь, а я тут у него под ногами путаюсь!» Подбежал Адам, закружил Еву, в глаза заглядывает, хорошо ли ей? Вдруг, Манечка как закричит: «Лебеди! Летят лебеди!» Обнял за плечи Адам Еву, придавил к себе, поднял голову, смотрит, как летит лебединая семья от берега к морю, и плещутся на ветру чистые, точно горные шапки снегов, в белом лоске на солнце крылья. Адам спросил: «Отчего это лебеди против ветра летят?» – а Ева ответила: «Ветер для них своя стихия, важнее мета – солнце! Они летят к солнцу!» – «А ты бы за ними хотела?» – «Да. Но всегда иду за тобой!» Манечка подпрыгнула, взмахнула ручонками, как лебеди крыльями и пустилась им вслед. На песок сверху, паря бумажными самолетиками, полетели лебединые перья. Манечка и тут не опоздала, подняла два – больших, отличающихся от гусиных перьев своей густой побелкой, еще поискала, но остальные плавали длинноносыми ладьями в воде. Уходя с моря, Манечка выбрала три самых крупных камня и поставила их на расстоянии друг от друга, да так, что стали они похожи на древнерусских языческих истуканов, охранников этой юдоли.

А Ева опять незримо свернула невидимое пространство, заглянув в другое время:  
*... Жаркий день здесь на пляже у моря. Ева с опозданием нашла своих, а тут уже Манечка шепчет ей на ухо: «Бабушка, я камушек нашла, а все сказали выбросить». - «Покажи мне». Газелью бежит Манечка в дюны и из укромного уголка несет серый гранитный камень, и сразу бросается в глаза природой отпечатанный, как будто выжжен на известняке, православный крест. Пришло время удивиться Еве: «Где же ты*





его взяла?» – «Море с волной выбросило». Покачала головой Ева: «Непростой камушек тебе море подарил, оставь его у меня, а то ты потеряешь. А я его тебе на счастье в день свадьбы подарю». – «Бабушка, посмотри, тут и чайки белые, и какая-то сигара, а на обороте – сколько насыпано звезд». Действительно, на камне выделялись у креста белые V-образные значки, а на обратной грубой стороне камня множество дырочек, которые Машенька звездами назвала. Это будет день, когда исчезнет последняя надежда на спасение русских парней, которые в морской пучине, будто в саркофаге, измерят до дна глубину родной земли, и по всему ее чреву раздастся человеческий вопль: «Спасите наши души!» И на молитву Евину за них море откликнется и выкатит на Балтийский берег жертвенный камень, вместо слезы...

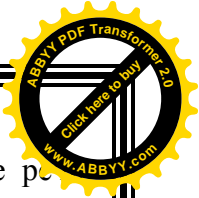
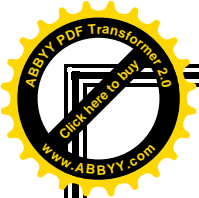
Они вернулись к машине, и Ева засуетилась, засновала. Первое ее желание было покормить внучку и мужа. Угощать Ева умеет, и тут ее трудно застать врасплох. На льняной, полинявшей и выдавшей виды скатерке появились бутерброды с колбасой, апельсины, термос с горячим чаем. Все проголодались и ели с удовольствием, и тут объявилась деревенская, бесхозная, маленькая, кудрявая и черная собачонка. Ее обозвали Жулькой. Вот кто был по-настоящему голоден: она смотрела на всех глазами попрошайки, виляла заискивающе хвостом, а потом поползла на брюхе, жалобно воя. Манечка сразу же влюбилась в собачонку и отдала ей свою витушку, а Жулька схватила вместе с булкой и всю ручонку девочки. Звонко заверещала Манечка, но так как собачка ее не укусила, то вслед отправились колбаса, и даже кусочек апельсина. У Жульки живот разбух и вылезал с двух сторон солидными полушариями.

Наступило время вернуться домой. День, проведенный у моря, развиднелся, взлохмачивая облака голубыми незабудками, открывая прогалины солнечному отряду. Адам предложил заехать в новый храм, в котором сегодня должны были повесить колокола, и на его предложение Ева откликнулась с радостью.

Они подъехали к новому храму Христа Спасителя. Храм более походил на деревянную рубленную избушку, отчего вызывал недоумение, потому что в городе уже возвышались костелы, сочетая современный материал и стиль с католическими традициями, были молельные дома сектантов, строгие и внушительные, но в российском Кенигсберге не было православного, русского по духу и облику собора.

Солнце все-таки заполонило небо и светило ясно предзакатными лучами. Народу около храма было много, не так давно закончилась служба освящения колоколов. «Лучше поздно, чем никогда, или и последний может быть первым», – так сказала Ева, и они зашли с Манечкой в храм. В маленьком притворе купила Ева свечи, и Манечка захотела их поставить сама. В память родителей зажгла Ева поминальные свечи, а расставляла их Манечка. Слушала она, как говорит с Богом бабушка, а та молила Бога, чтобы осветил дорогу в ином мире отцу и матери и открыл им врата вечности, не отвел бы от них своего взгляда благодатной любви, потому что они были человеческие люди, и простил им житейские заблуждения. А потом Манечка поставила свечу к иконе Спасителя, старинной и темной, обрамленной рубинами и нефритом, веками внимающая нескончаемой веренице человеческих слов, звонящих из тайников и глубин любящих и горемычных сердец. И Манечка тоже зашептала ему: «За всех нас и за мамочку!».

На улице под навесами по бокам церкви удивительно низко были привешены колокола. Они оказались перед глазами, и это было ново, потому что выше всех строений везде и всюду – колокольни, но в этом было и преимущество, ибо здесь их можно потрогать всем желающим. Адам взял и поднял Манечку на руках, а та водила указательным пальчиком по выпуклым буквам на колоколе, и Адам ей читал по слогам: «РОССИЯ». Девочка взяла колокол за медный язык и потянула на себя, тот толкнулся об



шелом и раздался звон, потом еще и еще... Понеслись невнятные звуки, вроде р... ребенка, который учится говорить и толкает язык в небо и зубы, рождая голос для понимания. Манечка слушала его уходящий и замирающий гул.

А Ева опять уставилась в никуда на миг:

*...В этом храме идет служба и стоит согнувшийся, сгорбившийся старик, в котором она еле узнала Адама, а рядом - дети, друзья, сестры и брат, который уж давно пропал, и еще какие-то незнакомые люди. Нет только ее, Евы. Но служба шла о здравии и черного ни на ком не было...*

Адам на руках нес заснувшую Манечку к родителям, которая зажав, не выпускала из кулачка два лебединых пера – два пламенно-белых отиска на загустевшей темноте вечера.

День закончился. Ева ехала рядом с Адамом в машине к себе и, наслаждаясь, слушала Марио Ланце «АВЕ МАРИЯ». Голос певца уходил в занебесье, вибрируя и рыдая, задерживался, страхась расставания с землей, и все же уходил, почти пропадая на высоких нотах, а затем вновь возвращался, чтобы набрать земного воздуха в меха, и во всю гортань огласить протяжно и нежно: «АВЕ МАРИЯ!»

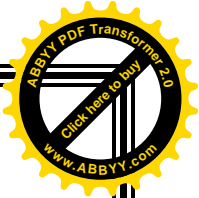
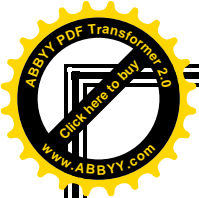
– Как ты? – спросил Адам.

– Предпочитаю бедам день хороший, - ответила Ева.

– Тебя опять не понял.

– Спасибо тебе! Хороший день. Просто очень хороший день!

Е.А. Гусева-Рыбникова



## МЕЛЬНИЦА

В городе Н., что на Орловщине, во двор углового дома через деревянные крепкие ворота с калиткой входила новая семья. Двор был огорожен забором со старой штукатуркой утраченного желтого цвета, с трещинами и отбитыми кое-где кусками, сквозь которые ржаво выпячивались под пылью добротные брусочки кирпича.

На местах, где сейчас коряво стоят из металлических обрезков и хлама сварганенные гаражи, в ту пору клейкими листочками разворачивались и пушились пахучие тополя, красовались ухоженные палисадники, за штaketником которых ярко зацвела сирень и струила амброзию белая акация.

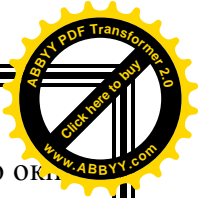
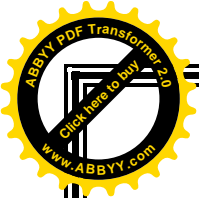
Этот двор напоминал улей, где не было посторонних и не получалось жить отдельно и скрытно, как-то невзначай все становились участниками не только своей, но и дворовой жизни. Любые происшествия быстро становились известны всем, да и не мудрено, потому что многие еще жили с подселением и коммунальной кухней. Все «удобства» находились в дальнем углу двора, но маскировались посаженными и быстро разросшимися кустами шиповника, обильно покрытого тонкими розовыми и душистыми цветами.

В свободных от зелени местах, у подъездов, были изготовлены лавочки для стариков, которые после своих домашних хлопот собирались вместе – и тогда не дай Бог попасться им на зуб, обглодают все косточки.

За сиренью и акацией тоже стояли лавочки, вколотые туда парнями для девчат, которые вызрели за послевоенные годы. По вечерам после танцев в городском саду под духовой оркестр, они провожались в глухих местах двора, надолго исчезнув с глаз долой.

Но подлинным достоянием двора были дети. Пришли фронтовики с войны – и они посыпались, как горошины из стручка: юркие, любопытные, задиристые, худощавые и быстроногие. Двор обживался ими до самого удаленного уголка. Жутко было прятаться в погребе, в котором темнота и узкие проходы напоминали запутанные подземелья, откуда, казалось, не выйдешь живым, но, преодолевая страхи, они ныряли туда с разбегу и, затаив дыхание, боялись лишь одного: быть найденными и потому проигравшими.

А чердак! Полумрачный, полутаинственный, теплый и шуршащий под ногами острыми угольками! Из чердачного окна можно было увидеть весь город! Ну, если не весь, то середину своего двора, ребят, шиповник и крыши до конца квартала, – обязательно! Из соседнего двора, местная шпана запускала в небо голубей, белых и породистых. Невозможно оторваться от лазури неба и подвижной искорки на солнце, которая вдруг резко начинала падать, и вскоре виден становился голубь, турман, без единого пятнышка на перьях, с какой-то кудреватостью и мохнатостью, с вихреватыми подпушинками и с залихватским хохолком на голове. Вот он уже рядом с чердачным окном скребет ножками в воздушных штанишках по железной крыше и обхаживает, клокоча, белую, тонкую и гладенькую голубку, с изысканной головкой и притворным к нему безразличием. А шпана свистит в два пальца звонко, с перехлестами, машет внизу



пиджаками, швыряет вверх картузы. Потакая им, стоит подать голос из чердачного окна. «Кыш! Кыш!» – и голуби срываются, нехотя зашумев крыльями. Спрятавшись на чердаке, можно было просто выпасть из игры, так как любителей лазать да искать кого-либо в темноте было мало. Как легко тогда забыть обо всем на свете, оставшись в одиночестве среди черных углов и пустующих веревок с прищепками для белья, – ради высоты и дождя!..

Приезд новой семьи собрал любопытствующих, но увиденного никто не ожидал....

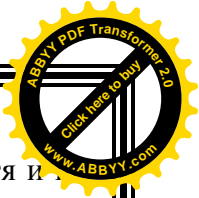
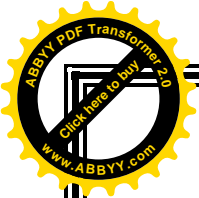
Женщина была худой, и на ее красивом узком лице двумя будто выкрашенными в черный цвет полумесяцамигнулись брови над темными, как ночь, глазами и отсвечивала белая, как маска Пьеро, бескровная кожа. Волосы, цвета воронова крыла были гладко зачесаны и толстые косы по старинному уложены короной вокруг головы.

Шла она на двух костылях, синевато-розовые ее ноги тащились за изгибами и поворотами великоватого таза, который вихлялся при каждом ее шаге, а над правым плечом возвышался холмом, горб. Рядом шел крупный, семидесятилетний, но еще сильный, широкоплечий мужчина в сером дешевом костюме из простого сукна. Природа грубо вылепила его: крупный и широкий, рыхлый нос – красный скорее от солнца, чем от спиртного, – квадратная челюсть и рябая кожа – все это хотя и не отталкивало, но и не побуждало задерживать на нем взгляд. Вместо левой руки, у мужчины висел пустой рукав, засунутый за пояс брюк.

Война осталась позади, и искалеченных людей встречалось не мало, но здесь было другое. Будто табун коней прошелся по телу женщины или мельница молола, но не домолола живого человека, – все срослось, да не зажило, и лишь голова сохранила необычайную красоту, которая возвышалась над немощью. Полноватые, вырезные губы и приветливо улыбались.

Рядом шли две белобрысенькие девочки. Одна постарше, лет шести, вела за руку двухлетнюю сестренку, обе были похожи на светлых ангелов с голубыми глазами, и газовые банты стойко держались на их белесых и тоненьких кудряшках. Они были беспримерно опрятны, одежда отутюжена, хотя и заметно, что платьишки у девочек сшиты своими руками.

Да, так оно и было. Когда в доме инвалидов им объявили, что для них выделена квартира, мать не спала по ночам, собирая своих дочек на новое место. Она раскроила штапель, ковыляя вокруг стола на костылях, впиваясь неустойчивым телом в его края и склоняя свою красивую голову, пришивала на платья крылышки, собирала на нитку мелкие сборочки. Они уходили от казенной заботы, от односпальных больничных коек, от помощи, которую подолгу службы оказывали им чужие люди. Справится ли она без них? Здесь она познакомилась с Костей, которого, сама того не желая, заморозила своим певучим голосом, ясным умом, неунывностью и умелостью. Что ни возьмется делать, все у нее получалось: то в подарок ему рубашку сшила, другой раз шарф связала, да и угостить



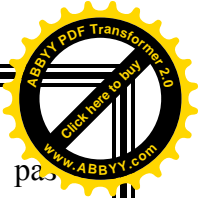
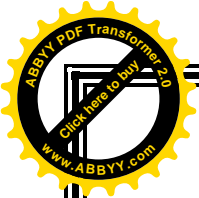
умела домашними нехитрыми обедами. Он по сравнению с ней совсем здоров, хотя и маленький у него возраст, однако пошла она за ним без сомнения.

Родила двух девочек. Это ее гордость, врачи не разрешали ей даже вынашивать детей, а о родах слышать не хотели и обрекали ее на операцию, предвещая смерть. Разве ее можно напугать смертью? Разве они знают, что значит для нее жить каждый день, каждый час, каждую минуту? Она справилась. Ее мука обрела смысл, она слышала как ворочается и стучится в ней нарождающаяся, еще неведомая жизнь, она испытала тяжесть, томление и ожидание материнства. Она познала роды, их боль и их сладость, наказание и награду, ужас и счастье. Врачам, конечно, досталось, а уж как досталось ее телу, это она одна знает, губы долго еще сочились кровью. Врачи грозились и злились, заставляя: «Кричи! Кричи! Погибнешь, погубишь!» Не кричала, не могла, ей нельзя было кричать. И вот, у них растут две девочки, а теперь будет свой дом – комнатка с общей кухней и с двумя соседями по коридору, правда, на втором этаже. Ничего, что дали второй этаж, это ж возможно преодолеть ради дарованного ей счастья стать настоящей женой и матерью.

Вот показывают хорошие люди им подъезд, в котором они и начнут новую самостоятельную жизнь. Громко, слишком громко застучали костыли по дереву лестницы, тянут вниз неподъемным грузом непослушные ноги, еще усилия, еще, еще... Улыбка не сходит с ее лица, глаза с агатовым блеском оглядываются на детей, которые идут вслед. Муж ушел вперед, он нес в руке чемодан, большой и деревянный, с затертymi, потухшими от старости, металлическими углами. Незнакомые руки потянулись к ней и, подхватив под локти, чуть приподняли с двух сторон, чтобы она могла двигаться вперед. Ее костыли застучали по коридору второго этажа и затихли.

Остановились игры детей, что-то дрогнуло в их неискушенных сердцах, да и в самом воздухе и пространстве благоухающего двора. Как-то само собой негласно решилось, что надо будет помогать. Старшие наказали детям по очереди доставлять воду из колонки, которая находилась через дорогу, и, чтобы принести ведро воды, надо было пройти через весь двор и перейти на другую сторону улицы, а потом еще вручную покачать тугую железную рукоятку, пока вода не потечет тоненькой голубоватой струйкой, а потом хлынет под большим напором, выливаясь из ведра, и не у всякого хватало силы и умения придержать рукоятку так, чтобы струя текла ровно и до краев наполняла ведро. Дети забросили шуточные и надуманные игры в «тимуровцев», когда ради галочки в пионерском отряде они выискивали и выпрашивали разные поручения, исполнять которые было не обязательно. Теперь, еще не окрепшие, еще костлявые, как у кузнечиков, их руки и ноги были незаменимы. Пробирала дрожь, от взгляда на изуродованную красоту женщины, но невозможно было не заметить, не почувствовать то хорошее, что исходило и от самой матери, и от детей, и от суровости мужчины, от его невидимого, но явного главенства. Он работал пастухом. И это было тем более странно, что в городе не разводили ни коров, ни овец, да и пастбища тоже не было. Он уходил на заработки далеко за город, и возвращался домой через двое суток на третьи, шел по двору, ни с кем не заговаривая, только изредка здороваясь с соседями кивком головы.

А она так старательно прибирала свою комнатку: расправляла складочки на веселом недорогом покрывале, стелила свежую, подсиненную и расшитую крестиком по



углам крупными алыми цветами скатерть, а пол вымывался начисто, да ни один раз день. Почти распластавшись на полу, она терла и терла его зажатой в длинных и худых руках с тонкими пальцами тряпкой, подтягивая за собой неподвижные, как у фарфоровой куклы, ноги. А то в широком алюминиевом тазу, поставленном на высокий табурет, боком прижавшись к стене, опираясь на костыль одной рукой, она стирала другой, погружая ее выше косточки запястья во включенную пену. Ее руки не знали устали: она обшивала не только девочек, но и мужа, вязала ему теплые пуловеры. А себе шила длинные халаты, покрывающие больные ноги, и любила, чтобы на ярком поле красного или желтого шелка разбухали цветы немислимых красок. Пелериной халата прикрывала она горб и руки выше локтей, красивые и не пропорционально длинные, с такими же длинными пальцами. Упираясь в костыли, она все же успевала поправить, как-то неуловимо подтянуть в своей короне косы, слегка их поглаживая, прихорашиваясь мимолетно, проверяя, не висят ли лишние пряжи, на месте ли заколки.

Соседи охотно спешили к ней на помощь, а она не охотно ее принимала, но не отказывалась, боясь обидеть людей. Постепенно все привыкли к тому, что она почти во всем обходилась сама, и, занятые своими делами, забывали зайти к ней – спросить, нет ли в чем нужды. И тогда она выходила на площадку лестницы на своем этаже и ждала, когда внизу пробежит кто-нибудь из детей, чтобы попросить принести ей воды. Она узнавала их по слуху.

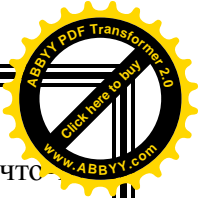
Хлопнула дверь: «Шура! Это ты? Принеси, пожалуйста, воды!» И вот уже бойкая девчонка скачет наверх, досадуя, что опять забыли нанести для тети Симы воды и сходить в магазин. А чья сегодня очередь носить воду никто не знает. Из всех детей только двое или трое продолжали ходить к тете Симе и помогать ей. Удалялся стук костылей по коридору, мелькал угол малинового халата, и в открытую дверь заходила притихшая девочка. Будто ей одной радуясь, говорила с улыбкой тетя Сима: «Посиди, поговори со мною! Чем заняты, как погода, что нового?» – «Бегаем. На улице солнце. Все по-старому». Сидит на краешке стула Шура, торопится уйти, страшась увечий, и не понимает, почему так дрожит ее сердечко. Несет ведра девочка по лестнице, гнется под тяжестью ведер неокрепший позвоночник, разгибаются пальцы от усталости, углами торчат острые коленки, но не бросает ведер Шура. Передохнет и снова взбирается по лестнице, прижав зубами губешки. «Могу, могу! Не может. Не может!»

Тетя Сима была певуньей. Не редко звучал ее голос. Казалось, Бог все потери физической силы собрал внутри, и она, эта сила, вырывалась и выливалась в мелодиях и словах, заполняя пространство двора, усиливая шелест листьев на деревьях, заставляя цветы раскрываться преждевременно и цвести ярче:

*« На плече качнулась ясеня дуга,  
Расплескалась ливнем из ведра вода,  
Опустила долу синие глаза,  
С алых губ слетело гордое: «Нельзя!»  
Любушка, Любава! Свет давно не мил,  
С той поры, как воду я твою не пил,  
Приголублю славно, зацелую всласть,  
Молодцу, Любава, не дозволю пропасть!  
Потерял я счастье видно навсегда,  
Расплескалась с ясеня под ноги вода!»*

В такие минуты начинали тише говорить, как будто боясь спугнуть с ветки поющую птицу, а может, опасаясь пропустить мимо своего слуха грустные и сладкие звуки,





заставляющие остановиться, отстраниться от привычного, разволноваться, что припоминая, в чем-то усомниться, острее почувствовать свою долю. Она не пела разухабистые и задорные песни, в ее мелодиях всегда был простор для голоса, тайная грусть любви, страдания и печали.

В те дни, когда возвращался домой муж, тишина оживала за их дверями, словно закрывались они более плотно, не позволяя входить посторонним. Сима, улыбаясь счастливой улыбкой, лила воду на его руку, со взбухшими широкими суставами, с короткими обломанными ногтями, на его красную в крупную сеточку морщинистую шею, которая полоской оттеняла остальное незагорелое поле спины. На скатерти уже стояла до блеска натертая тарелка, рядом с ложкой лежали вилка и нож из родительского серебра. Он бурчал: «Я могу и из миски, это ни к чему». Отодвигал вилку и нож, ломал нарезанный хлеб, брал ложку и начинал есть. Ел он спешно и крупно, опустошая тарелки, как будто не замечая вкуса, а только насыщался. «Сядь не суетись, а то очень уж стучат костыли».

А ей хотелось, чтобы он заметил, как хорошо у них дома, как вкусно она ему готовит, заметил, как красиво уложила она свои косы. Она спросила о его делах. «Какие с коровами дела, пас себе и пас. Все целы». Она молча смотрела на него и радовалась внутренней радостью, которая заслоняла не доброту в его голосе, неласковость во взгляде и небрежение ею. С ее лица не сходила улыбка. Это пустое, что последнее время он мало ее замечает, - наверное, устает очень. Не раздеваясь, муж лег на постель, - покрывало сбилось, задравшись с одной стороны, - и он быстро и ритмично захрапел.

Отвернувшись, Сима запела тихо и протяжно.

«Я хочу спать, замолчи!» - оборвал ее резко и недовольно. Она осталась сидеть: ведь, чтобы она ни делала, костыли будут стучать и могут мужу помешать, - но тело скоро затекло от неподвижности и нестерпимо сдавило грудь. Она продолжала сидеть, наклонив красивую голову над столом. И так идет время...

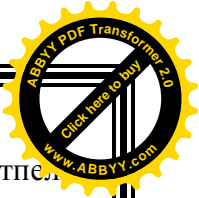
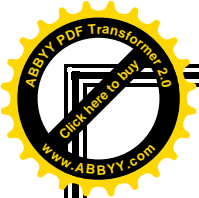
«Девочки, наверное, у соседей. Внизу, в большой семье учителей, своих ребят пятеро, но привечают и моих. Оленька с их младшим сынишкой так ладно сдружились, да и девочки у них развитые, учат и моих уму-разуму. Танюша, младшенькая, мне кажется, очень способная, уже сейчас легко все запоминает, толково рассказывает, и считать сама научилась. А вот петь не получается. Хорошо, все у меня хорошо! Спит Костя, а я больше не могу, надо поменять положение, а то совсем плохо буду двигаться». Загремели костыли, некстати.

«Ну, что там опять? Никакого покоя нет! Тихо что ли ходить не можешь?» Улыбнулась, пожала плечом с горбом: «Костенька, не могу. Ты уж не сердись».

Пройдет три года, и в один из таких вечеров, он ей скажет: «Я тоже больше не могу. Я уйду к другой, нормальной. Я у нее каждый день пью из кружки молоко, мне вкусно. Собери вещи».

Отчего на стене так много солнечных зайчиков? Как они прыгают, вертятся, перемешиваясь, ходят, ходят ходуном! Она удержится на своих костылях, вот только руки почему-то обмякнут, но она сцепит намертво пальцы и будет держать костыли, которые вскоре застучат и застучат по комнате, и тяжелее обычного станут непокорные, надоевшие ноги. «А дети?»

«Это твоя затея, я их не хотел». Как ей скажешь, что там, у дородной коровницы, ему легко смотреть на ее толстые в ямках руки, на ее широкую, как вымя, грудь, на красные тугие щеки, - кажется, если надавишь пальцем, брызнет кровь. Не объяснишь, что там пахнет иначе. Он, обернувшись у двери, подумает: «Дело, хоть не плачет. Молчит. Но что у нее с глазами? Будто высохли», - поднимет чемодан и уйдет насовсем, не оглядываясь назад.



За дверью их комнаты исчезли звуки, будто кто-то давно умер, а его ещё не отпел. Перед самой зимой она решила вернуться с детьми в дом инвалидов. Приехала серая квадратная машина, и соседи почти вынесли ее на руках, маленькую и сухонькую, закутанную в клетчатый бутылочного цвета с бахромой платок, даже брови и те у ней поблекли. Вот и снова попала она под жернова мельницы, которая раздробила и перемолола ее душу, уничтожая даже те ростки жизни, которые вопреки всему в ней пробивались. Похоже, ей не прощало превосходство и особенность в природе. Точно одна щедрая сила дарила ее красотой, умом, благородством, а другая с такой же беспощадностью и изощренным упорством и ненавистью губила, ломала и кромсала ее.

Ее дети не были на нее похожи, в них все было белесо, природа затаилась, боясь повторения, чтобы не вызывать у судьбы зависти. Машина выехала в деревянные, тяжелые ворота, которые долго будет потом закрывать сосед, подсовывая в железо петель угрюмую дубовую палку.

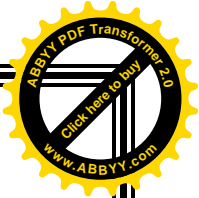
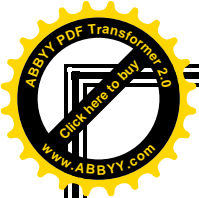
Она умерла в доме инвалидов очень скоро, а девочек сдали в детский дом. О ее муже никто больше никогда не говорил.

С той поры прошло немало лет, но память не поросла мхом забвения до конца и сохранился след, дабы убедить меня еще раз, что человеческая сущность может противостоять разрушающим обстоятельствам и надломленная ветка не лишена цветения, но агония наступает тогда, когда колесована душа, когда человека просто вычеркивают из жизни, предавая и стирая с лица земли. Как выстоять, выдюжить, удержаться и не умереть от разбитого сердца, если Богом дан дар раствориться в любви?

Зачем я собираю его осколки, ползаю на коленях и заглядываю во все укромные уголки, складываю мозаику в свою руку, дышу на нее, – как на стрижа, который этим летом залетел в комнату и, не найдя выхода застыл, раскинув крылья у оконного стекла, – пою водичкой из пригоршни и подкидываю со всей силы над цветущими травами ввысь, чтобы замахала крыльями почти погибшая птица, засверкала фиолетовыми концами острых крыльев и полетела так высоко в небо, как это сделал, уносясь вдаль и превращаясь в черную точку стриж...

Я выхожу на крыльцо поздним, осенним, с холодком на ветру, вечером, слушаю близкие раскаты морского прибоя и, задирая голову ко всевидящему, открытому оку Неба, облепленного густыми звездными ресницами, с рассыпанными на них маленькими алмазными росами, думаю: «Господи! Если можно, не посылай человеку столько испытаний, сколько он сможет вынести! Особенно женщине...»

Е. А. Гусева - Рыбникова



## НЕСОВМЕСТНАЯ КРОВЬ

Я вылетел, как из брандспойта, и понесся среди таких же головастых вперед. Нас много, и все мы в стае, но каждый сам за себя! Летим так, будто гонится за нами стремительная мурена, не знающая сытости. Спасаемся все и не спасаем никого, мчимся наперегонки. Я всех опередил и скоро бежал один. Главное в этом деле – развить скорость! Бегу, не замечая препятствия и не оглядываясь на остальных! Не жду ни берега, ни причала, ни приюта. Движение вперед, без финишной ленты! Я ликовал! Я первый и я победитель!

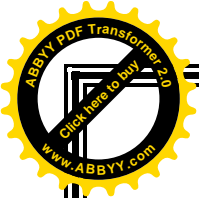
Но как неожиданно я попался, прилип к чему навсегда, растворился и совершенно исчез! Неужели победа это не то, что ты ждешь? Я еще пытался защититься, атаковать, но от этого, только сильнее вклеивался в другую форму, в иное измерение, в новейшую дисгармонию. Это было начало моему превращению в зародыша.

Мне понравилась нечаянная моя метаморфоза, и наступило превосходное время! Каждый миг я менялся, образовывался, произрастал! Больше всего я радовался своим краешкам, которыми мне удавалось раздвигать тесноту, где я так блаженствовал! Я давно бы выпрыгнул куда-нибудь на свободу, но у меня каждый день что-то добавлялось и росло, и это меня восхищало! Да, я поумнел против прежнего, а потому не был больше торопливым. Еще чуть-чуть – и я совсем освоился, и лучшего ничего не хотел. Мне было странно новое состояние: исчезло понятие – «я» и «один». Теперь существовали маленький Я и еще большая Я. Кроме того, я ощущал, что вокруг что-то происходит, меня трогают, то крупные щупальца, настороженные и крепкие, то совсем маленькие, почти недостижимые и легко уловимые, но чаще гладит и посылает мне приятные сигналы моя родительница, или большая Я, теплотой обволакивая всю мою суть. Я слышу, как с той стороны звучат голоса абсолютно различных инструментов: от баритона до фальцета, – и настраиваюсь камертоном на эти лады. Частенько, когда мне не ясно, что там происходит, я расправляю свои краешки или дрыгаю ими и тогда слышу, как моя большая Я восклицает: «Ой!» Я рад постараться и толкаюсь с силой, заявляя лишний раз о себе, чтобы порадовать мою большую Я. Бестолково и азартно верчусь, по-дельфиньи скользя, как в морском гроте.

Похоже, есть две доли, разделенные микронами: на одной из них полное довольство, а другая – полное беспокойство, она-то и не дает долго находиться по лучшую сторону. Без объявления войны, нежданно, негаданно, меня со всех сторон начали выдавливать, тычками пинать и выпихивать, нажимая со всех сторон, поддавая беспрестанно пендаля за пендалем, пендаля за пендалем. Кому понравится, когда тебя сунут головой в узкий тоннель и заставят пробиваться самому, да при том в штопоре выкручивают краешки. Одна мысль уже мелькнула в голове: «Зачем я прибежал первым?»

«Ля! Ля! Ля!» – это я заорал от страха, от боли, от радости! В груди, как хлопок паруса, когда он открывается на ветру, открылись ставни для воздуха: «Я дышу!» – «Ля! Ля! Ля!» – приветствую я земное обитание, повиснув на пуповине, как космонавт, вышедший в открытый космос.

Моя большая Я отделилась от меня, и я остался опять один, как тридцать восемь недель назад. Только теперь я беспомощный, не умею бегать и спасаться... Вокруг меня маски, стеклянные колпаки, резиновые трубки и боль, которая становится узнаваемой. У большой моей Я и у меня, невообразимо, но оказалась несовместная кровь. В дело включился страшный резус-фактор. Мои эритроциты падают, и кровь меняет окраску. Человечество, к роду коего принадлежу и я, имеет из красного железа кровь. Когда знаешь цену выверенному по формуле цвету, невозможно быть расточительным. Кровь не

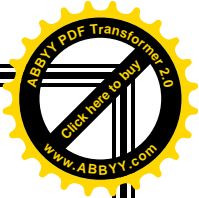
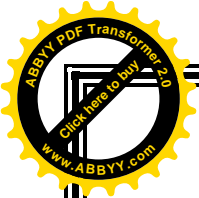


имеет права растекаться по земному шару, меняя его зеленую поверхность на багровое поле. Это – как отрицательный и положительный резус-фактор, в прогрессии вырабатываются губительные антитела. Они во мне. Большая Я ушла, я один и со мной резиновые руки с иглами.

Я никуда не могу от этого деться, они хотят, чтобы я жил, но я ухожу! Улетаю в бессознательные выси, пробиваясь сквозь толщу стен, этажей, потолков – туда! На свободу! В безоблачное, небесное безбрежье, прицеливаюсь в самую середину пунцового круга, навстречу солнечным стрелам! Что это? Меня не пропускают такие же, как и я, белые эфирные мальцы, опоясанные лунными стропами, встав плотной шеренгой, они с упорством возвращают меня обратно. «Возьмите меня с собой, аэролучники! Я не хочу назад! Я не могу!» – « Не спеши. У нас нет повести, а тебе предстоит ее прожить. Тебя ждут. И до преддверия слышно, как за тебя просят и молятся, значит, уже любят! А любви Бог бесспорный и вечный сторонник! В ней заключена его живительная благодать. Живи на радость!»

Необыкновенно вкусный запах привлекает мое обоняние, губ касается теплота, и сладостный нектар жизни вливается в меня. Я сосу впервые виноградину груди! После того, как я снова ощущаю блаженство от встречи с моей большой Я, открываю глаза и различаю ее лицо. Как она хороша! Она плачет. Я понял это, потому что соль попала мне с молоком в рот. « Мама! Моя мама! Мамочка моя!»

Е.А. Гусева-Рыбникова



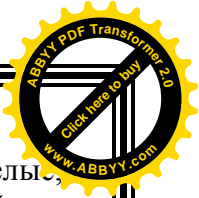
## ОРБИТА СОВЫ

Деревня располагалась вдали от станции, и нужно было затратить день пути пешком, чтобы добраться по пыльной дороге среди колхозных, широких полей, засеянных по большей части рожью и занимающих до горизонта открытое, безлесовое пространство. И Москва близко, и Владимир, и Загорск, а деревенским туда ехать не с руки, нет ни машин, ни автобусов, а потому этот вояж для них долгий и беспокойный. Приближался первый Спас. Солнце раскалялось днем до исступления, и жарило землю от Петрова праздника без дождей. Яблоки «белый налив» потрескались от жары и плавились в собственном соку, разбухшие, как вареная картошка, заклеивали рот пресной кашей. Земля спеклась, а на полях созрела рожь. Жестко торчали ее усы на крупном колосе, отяжелевшем от богатого зерна, и густые заросли хлеба заслоняли собой глазастые, аквамариновые брызги васильков, которые с любопытством высматривали на дорогу снизу, а по обочине под знойным солнцем выцветала белизна низкорослых ромашек. Среди тишины, в глуши трав тонкой стрункой потрескивали, преодолевая робость, тонколодыжные кузнечики. Висели в воздухе, подвешенные на невидимой паутинке, пурпурными бутонами бабочки. Для крестьян наступила страдная пора.

Деревня, куда ехали гости на двух машинах, называлась Курякино, – то ли потому что в далекие времена там разводили особенных кур, то ли уничтожительно, коли курица не птица, то деревня не годится. Однако, стоявшие вдоль улицы одноэтажные дома, далеко не новые, но в большинстве покрытые железом, говорили о другом. Дома не были похожими друг на друга по той лишь причине, что резьба, которая украшала кружевными узорами стрехи под крышами и оконные ставенки, не повторялась. Замысловатые загогулины среди деревянных цветов, винограда и пташек, кренделечки и витушки, переплеты и косицы, сосульки, снежинки, фигурные балясины на резных крылечках превращали дома в нарядных невест. Над крыльцом дома, стоявшего в самом конце деревенской улицы, почти у лесочка, куда и ехали гости, детским весельем волнилось лучезарное солнышко и торчал на коньке горластый, шамагодской резьбы петух, вот вам и Курякино!

Молчание и одиночество дома дробью нарушили голоса приезжих бабы Любы родственников, которые прикатили с далекой Белоруссии на двух машинах, и теперь затаскивали сумки, заходили шумно в дом, целовали худенькую и маленькую свою тетюшку, оглядываясь вокруг. Они располагаясь без стеснения, видно, что здесь они бывали, но потому, как плакала от радости баба Люба, бывали давненько. В доме оказалось прохладно и затенено, и истомленные жарою в дороге гости наконец-то ощутили блаженство близкого отдыха и спасения от пекла: легче стало дышать и, медленно остывая, уходила испарина разгоряченных тел. Все собрались в большой горнице, где пахло еще новыми обоями. В левой стороне выделялась высокая кровать с металлическими спинками и шпешечками по четырем углам, на которой высились сугробами подушки, торчащие уголки которых были расшиты шелковыми бабочками. На слабом сквозняке чуть потягивались кисейные занавески окон. Среди этого убранства притягательнее всего выглядел стол. На нем лежала расшитая скатерть, на канве которой среди витиеватых лепестков и стебельков василькового цвета, вывернутых то в одну, то в другую сторону или соединенных по кругу, рдели в натуральную величину малиновые маки. На полу лежали домотканые в сине-красно-зелено-бело-рябую полосочку дорожки. На телевизоре, на кружевной салфетке, стояла ваза с самодельными цветами из накрахмаленной ткани, точно скопированными с лесных ландышей. В красном углу выделялись темными ликами родительские иконы.





Баба Люба была в ситцевом, поблекшем от стирки халате, и открытые, загорелые, сухой и вялой от возраста кожей, но крепкие и жилистые руки, успевали быстро накрывать стол, разогревать на печке в чугушках еду, кипятить чай в самоваре, а заодно распределять и указывать места для ночевки ее дорогих гостей. Ее переполняла радость встречи: « Вот красивый и стройный старик, муж ее родной сестры, вдовый, как и она, еще близко его горе – не то, что у нее за давностью лет, да и жили по-разному, там совет да любовь, что с таким как Иван не жить. Благородный даже и в старости, а у нее – пил до помрачения, а поговорить – и того не умел, токмо мукал, как его коровы. А вот пастух был лучший в деревне, потому платили ему не мало... А вот их дети- племяши: Мила старшая, ей лет уж пятьдесят, но статная и красивая в мать. Ее муж, такой же гладкий и симпатичный мужчина, его зовут Миколаем. Тут и сынок ихний Игорек, парнишка лет шестнадцати, длиннющий и узкий в плечах, напоминает собой журавля, с белесыми и прямыми вихрами, которые перешли по наследству еще от ее отца: два упрямых куста надо лбом и столько же на макушке. Дюже модный, вон какой у него спортивный костюм, пылают то красные лоскуты, то синие, а то и желтые. Видный будет, как заженится, а пока нескладный. А вот и племянничек дорогой – Феденька со своей птахой Лизаветой. Уж до того мала его женушка, а вот обхождением и лицом взяла, им уж лет по сорок будет. Приехала с ними ее любимица Анечка – тоже пока, как мальчишка подросток все углами, да углами, и в брюках ходит, но уже проглядывает в ней миловидность, а уж ласковая и добрая к старой двоюродной бабушке, сразу за душу взяла. Хорошие, добрые семечки у покойной сестры, ветвится деревце Ивана да Марьи! Как же ей ныне не порадоваться, ведь кругом одна, да одна, как былина в поле качается, слезы проливает, только стены, да скотинка ее слышат, а разговор человеческий слаще меда стал».

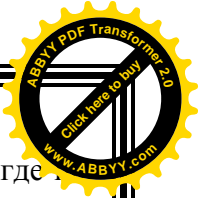
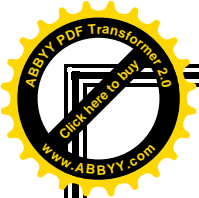
Гости не с пустыми руками приехали, на стол стали выкладывать городские магазинные продукты: колбасы копченые, сыр головкой, шпроты, пакеты, коробки, конфеты в ярких обертках и хлеб московский – все, что можно было довести по жаре и, конечно, бутылки со «Столичной» водкой и венгерским вином, которые срочно отнесли в ледник, устроенный у бабы Любы в погребе. Стали доставать подарки, среди которых Мила привезла для тети костюм шоколадно-каштанового цвета из тонкой шерсти, и женщины сразу засобирались в другую комнату на примерку.

Чтобы не смущать свою тетушку, Мила с Елизаветой отошли к окошку, повернувшись к ней спиной, а та достала из шифоньера шелковую рубашечку, тоненькие чулки, туфли лодочкой, хотя и не новые, но и не поношенные, оделась не торопясь, застегнула пуговицы на пиджаке, стянула с головы бумазейный платок, разгладила двумя руками волосы и затем только сказала:

– Ну, все! Я готова.

Ахнули обе женщины такому превращению. Вместо старенькой, пусть и расторопной бабушки перед ними стояла возрастная, но элегантная женщина, с подтянутой фигурой, в которой, несмотря на тяжелую по жизни крестьянскую работу, сохранились осанистость, подчеркнутая высокой шеей над достаточно прямой спиной, да русыми косами, наведенными по голове.

– Вот в кого такие маленькие ушки у Анечки! – воскликнула Елизавета, – а я с детства ее не могла понять, откуда от нас, лопухих, такие аккуратненькие, как морские раковинки, ушки, а это тети Любины», – приговаривала Елизавета, приблизившись к мужниной тетке и рассматривая то одно, то другое ее ухо с золотыми сережками, в которых играли светом махонькие желтые топазики. Она не могла наглядеться на бабу, то есть тетю, Любу, напомнившую ей скифских женщин, с тонкими скулами под глазами, виденных ею в этнографическом музее. Это сколько же веков проходит, а вот нарождается вновь



похожие, да затерянные в российских глубинках, повторяется редкая природа там, где может ее изменить маскарад цивилизованной косметики, а потому-как надо взглядеться, чтобы заметить эту исконную славянскую красоту. Елизавета тронула ее за сережки и добавила, - надо и Анечке ушки проколоть!

Тетя Люба, переминалась с ноги на ногу от неловкости, но на последние слова ответила:

– Если хочешь, я могу ей проколоть. Я в округе всем девчонкам с рождения уши прокалываю!

– Тетя Люба, вы и это умеете? Хорошо! Вот только с Анечкой переговорю, не испугается ли?

Мила сказала:

– Тетя Люба, какая вы еще интересная! Сколько же лет одна?

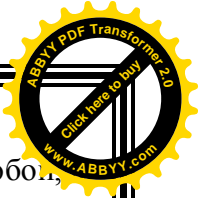
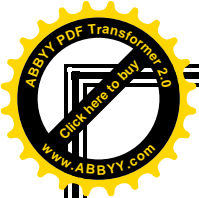
– Уж не упомню, десять весен не иначе. Плохо одной, пожалеть-то некому, да и не кого, особенно зимой тоскливо. Да утекли мои годочки, как вода вешняя! Пойдемте што ль?

Когда они вышли к столу, то все поразились увиденному, так преобразилась их деревенская родственница. Вскоре все уселись за большой стол, чтобы отметить приезд, да и проголодались изрядно. Выпили, как полагается, и пошла беседа – о жизни, о родичах, о себе и о тех, которых больше нет.

Мила спросила про материнского брата Николая и тетя Люба рассказала:

– Заела его совсем Анастасия, (а Анастасия была родная сестра Ивану), он ушел в свою квартирку, но там дочь хотела жить. Стали с ним судиться, но, конечно, на их неправду, правда сыскалась, не вышло у них ничего. Женщина появилась, не скажи, что бессеребrenица, но смотрела его, когда заболел, а болел он тяжело, рак горла был. Он ей квартирку - то и отписал. Уж, что только Анастасия не замышляла, как не бесновалась, а шиш ей! Заезжал он тут перед смертью, не узнать его, а какой завидный мужик был! С войны пришел – герой, она тут его и подцепила, да всю жизнь змеей злющей и шипела, ведь, одна такая на всем женском роду, да и та ему попала. А мужик был смиренный, выругаться и то не умел. Царство ему небесное!

Старика Ивана дети звали – отец, невестка Елизавета – папой, а внуки – дедуля. Он сказал, что пошел покурить, взял сигарету и вышел со двора через калитку. Сел у дома на лавочку. Напротив был луг, в обычное лето смачно-зеленый, а теперь выгорел на солнце и дряблостью еще сильнее выказывал нужду в дожде. Солнце уходило, заканчивая свою доменную вахту, и заливало небо на закате рубиновыми слитками. Горел оком, который изображал то невиданных громадных птиц, то широкие дороги в никуда, то газовые гранатовые шали, покрывающие пурпуром недалекий лесок. Само солнце белело сгустком лавы, от которой слепнет глаз. Жар дня утих на самую малость, и только оркестр кузнечиков еще звонче и задорнее бил цимбалами в траве. Отец потирал сердце и думал о том, что он похож на этот закат, – медленно, но уходит за черту, а ведь молодым сюда бегал, на гармони играл. А как в ту пору его Маша пела! Так и сошлись, семь лет его прождала из-за войны, много пережито вместе, а теперь один. Слезлив стал после ее смерти, вот не очень то бережлив был при жизни, а без нее будто навывлет раненый олень. - Любу нарядили, сватают ее что ли мне? Нет, оборвал я давно свои корни с деревней, чужая эта мне сельская жизнь, да и Люба простовата, прекрасный человек, я ее с молодости знаю, а никогда не привлекала, ее от земли не отскребешь, срослась с ней, а я отвык, с войны офицер. А одному - как без Маши горестно одному! Дети только и спасают. И почему человек так устроен? Что у него в избытке, хоть того же счастья, – не надобно, что не достать – за тем жилы надрывает; слух дан, а музыки земли не различает, вон какими фанфарами прощается с днем закат, какой тальянкою лес отвечает; да...



человек умом богат, а глупость всегда верх берет; нет у него ни когтей, ни силы особой, как биться начнет, то по лютости и зверя такого нет; всю жизнь ногами землю толчет, а потом она его и с головой накроет. Венец природы. А, если нет? А если одно сущее недоразумение? Тогда почему же он чувствует и тоскует от любви, мучается совестью, трудиться неустанно и жаден до познания? Жизнь почти прожил, а не отвечу.

– Папа, ты что же это тут один? – села рядом его невестка, прижалась к его руке. О ней подумал:

– Ласковая. Дочь так не обнимет, как Елизавета, – а вслух ответил:

– Да, вот думаю, отчего папиросочку люблю пососать, а вредно, рюмочку водочки не прочь пропустить, а сердце опять же прихватывает, женщина и та по возрасту противопоказана, а без нее скучно?

– Папа, посмотри какой закат! Будто вишни раздавили и сок фонтаном по всему небу забил! Того гляди на землю прольется! – а потом встала, прислушалась, палец к уху и вверх подняла и тихо, – я отвечу, а ты мне не поверишь!

– Может и не поверю, однако, отчего?

– Да потому что мы ищем в небе пришельцев, а сами на земле, что ни на есть инопланетяне. Оттого все земное – вредно, и папиросочка твоя, и водочка, и разбитная бабенка! А про закат, я ведь не сказала, что он будто кровью выпачкал небо, потому что кровь, значит родня, значит живое, кровное, свое, человеческое! Я боялась тебе это сказать, но это так.

– Не слушай ее, отец, все то выдумывает Шехерезада! Лучше пойдем со мной, я тебе что-то покажу!» – Федор крепко взял за руку Елизавету и повел с улицы во двор, а она, оглянувшись к отцу, помахала ему другой рукой, отчего тот улыбнулся:

– Хорошо, что она оглянулась. Вот и папиросочка кончилась, пойду в дом. А Федор – в меня, тоже не бережлив при жизни.

Федор открыл дверь старого деревянного сарая, в котором хранилось прошлогоднее сено, и пропустил вперед Елизавету, а она задержалась в черном проеме двери, чтобы всмотреться в темноту, расторгнутую в разных местах дорожками света, прорвавшимися сквозь щели. На свету, будто пудра, процеженная через мелкое сито, держалась и завивалась, подрагивая, пыль. Она зашла без сомнения, потому что рядом был муж, которому она доверялась безоговорочно. А он, подталкивая ее вперед, подвел ее к лестнице, ведущей почти под потолок сарая, – там, на верхотуре, на дощатом настиле, лежало охапками сено. «Я здесь студентом спал, когда приезжал перед женитьбой с родителями. Полезем?» Елизавета уже перебирала ногами шершавые перекладки и, получив любезный толчок под зад мужниной пятерней, залезла на сеновал. А он уже был рядом.

– Ну как тебе тут?

– Очень душно и колко, невозможно шелохнуться, будто насовали в сено кактусы.

– Это колючки попадают в сене. Я сейчас все устрою. Тут у тети Любы должно быть покрывало, да вот оно! В трубочку свернуто, и на полке лежит. Привстань-ка, я постелю!

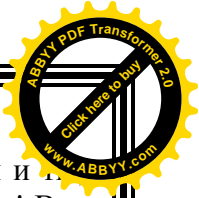
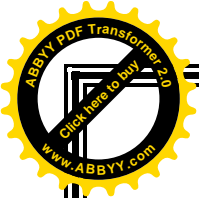
Они растянулись рядом на покрывале и Елизавета продолжала:

– Я впервые на сеновале. Как тяжело и душно пахнет травами, и не пойму какая больше дурманит. А вот на свежем лугу нет такого запаха, неужели нужно умереть или засохнуть, чтобы так сильно источать аромат?

– А я знаю, какая душистая трава перебивает все остальные! Сказать?

– Ну, какая?

– На твоей коже горчит полынь, ты ею пахнешь всегда, и я даже здесь не слышу других, только томительный дух полыни! Ну, кто же тебе родной, я или закат? Разве моя кровь не



горячее самого жаркого дня, разве не мое сердце лупит рядом с твоим, разве не я и ты, разве не ты и я переплелись, перепутались корнями и вершинами, посмотри на меня! Вот так, вот так, моя родная, глазами в мои глаза, и люби меня!...

– Я срываюсь вниз!

– Я с тобой! Удержу, лети, не бойся!...

Елизавета смотрела на бревна потолка, где через дымку солнечных стрел, была видна махаоновая бабочка, которая веером открывала и закрывала паутинные крылья, смыкая вкрапления и разводы на них, а те черными зрачками еще ярче оттеняли пламенный раскрас пылицы.

– Отчего я такая? Отчего слабею под натиском его рук, его губ, теряю себя от его только взгляда, голоса? - она прикрыла глаза, и уходя в забытие, увидела, как отделилась от нее белая призрачная женщина и повисла над ней параллельно утомленному телу, а потом медленно подплыв к Федору, растворилась в его груди, как кристаллы соли на воде. « Я тебя люблю! Я тебя люблю!» – слышала в себе Елизавета.

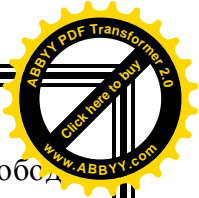
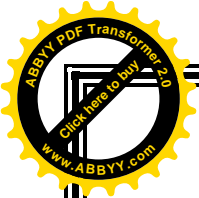
– Феденька, я чую из всех трав единственный, тонкий и нежный медуницы запах, то он есть, то его нет, а то над всеми возвышается! И духота прошла!

– Это сено в начале лета косили, когда цвели самые душистые цветы. Я его тоже слышу! Их руки встретились, и пальцы начали заплетаться один за один, и сжались вместе, стиснутые в сокровенном союзе.

Николай с отцом, голые до пояса, носили в ведрах из колодца серебристую и насквозь, до дна, прозрачную воду, ступая по тропинке, лентою протоптанной на задний двор к баньке, расплескивая на ходу пригоршни студеной влаги, которую мгновенно всасывала в себя, сохнущая трава по обочинам тропки. Им, отвыкшим от необходимости запасаться водой, очень нравилась эта работа. Она вызывала в душе жалость по давно ушедшей поре, по родительским порогам, по тому не очерченному точно, звучанию в жилах, слиянию и совпадению в клеточках тела – и с этим ведром на деревянном барабане, обмотанном цепью, и с гулким звуком эха, от шлепнувшегося о столб колодезной воды ведра, и с косогором, на котором колобком виднелся деревянный сруб маленькой баньки.

Николай в обиходе был сердечного нрава, без вспышек дурного настроения. Он наслаждался оттого, что медленно пил из колодезного ведра воду, которая обжигала небо ледяным привкусом и вливала в него несусветную легкость. От холода металла остывали растопыренные пальцы, держащие плотно драгоценное ведро, из которого вода стекала по подбородку, шее, подтекая по груди к пупку, задерживаясь в ямке живота освежающей, прохладной росинкой. Таяло блаженно сердце. Он налил отцу в ведра воду, не добрав до верха почти четверть, жалея его и боясь за него. Отец не взял эти ведра, - нагнувшись, он прихватил два полных ведра Николая, и пошел по тропинке напевая: « Та, та, та, та, та, та, та, та; та, та, та, та, та, та, та, та; у далекой и Нарвской заставы парень идет молодой!», – расплескивая через края зеркальные капли на жаждущую землю, которая по их малости не могла впитать, а только склеивала водяными ударами пыль, составляя влажные комочки в мелкие кольца.

Взрослые готовили баню: Баба Люба и Мила мыли и скребли лавки, протирали пол, споласкивали тазы, но таинство топить печурку и замачивать березовые веники мужчины им не уступили. Федор нес с белой кожицей поленья, уложив их одно к одному на левую руку, а другой обнимая и прижимая к себе, отчего ощущал на груди их колючую щетинку, проткнувшую тонкий хлопок майки. Потому он не делал резких движений, а толково переложил их от себя к топке. Топил баню отец. Он сложил костерком щепочки, чтобы между ними было свободное место, затем поверх уложил бересту – тоже горочкой, а



только потом положил самые тонкие и сухие поленья, давая каждому из них свободу. Проверил открытую вьюшку, поддувало, и только затем подложил газету под щепочки. Делал он все это не спеша, поленья поправлял не по одному разу, меняя их положения, посасывал сигарету, снова принаравливаясь и теребя в руках то бересту, то газету. Ему никуда больше не надо было торопиться, он мог позволить себе некую бессловесную, как у глухонемых, беседу и с поленом, который своим сучком напоминал внимательный глаз, и со мхом, поникшим сединой на тонкой бересте, – готовыми вспыхнуть под его измазанной в саже рукой последним языкастым огнем. Он по весне ходил обязательно в лес, в березовую рощу, за соком, и наблюдал как мощно гонит его земля, даруя деревьям силу жизни, пробивая под солнцем из почек молоденькие листочки, и, пока они не развернулись во всю ширь, березы выглядели будто полуприкрытые прозрачным одеянием. Так через копеечную листву, виднелись ее тонкорукие ветви. А теперь он держит кусок полена в ладони, высушенный обрубок, как старость, и скоро от него останется одна головешка, пепел, а ведь и этой жизни ветры навевали свои звуки, грозы громыхали и сияло солнце! «Гореть тебе, полено, не хочется, как и мне – стареть, но всему приходит конец, как хорошему, так и плохому! А под занавес все-таки дай-ка прикурить!»

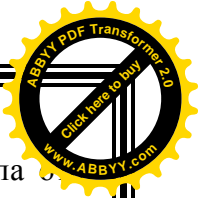
Спички в коробке стукнулись, напоминая ему, что пора... Он поднес огонек к газете, тот попыхтел, попыхтел, да и лизнул бумагу, вздрогнул от радости, размахнулся – да и давай набирать жару в бересте, да в щепочках, вот уже он перекинулся с лучины на лучину, не собираясь более сдаваться. Отец закрыл дверцу. Затем подождал, и снова ее приоткрыл, огонь хозяйничал внутри, подмигивая ему: «Теперь только давай, да давай березы!» Все получилось, топится баня, и отец прикрыл, но не до конца поддувало, умеря рьяность и ненасытность огня.

Николай с Федором выбирали у бабы Любы в сарае березовые веники, которые висели на веревочке, с поднятыми вверх кулачками, а всей своей шевелюрой спускались к полу, неодинаково лохматые, по-разному нежные, по-своему шелковистые. Вот и ощупывали их мужи, как женщин, от какого больше удовольствия да пользы в предстоящем истязании, какой ударит, а боли не причинит, какой не рассыплется, не растреплется от крепкой мужской руки, какой от кипятка больше размякнет да распушится и духом березняка усладит. Мнут в руках сухие листочки, вдыхают родимый табачок и выбирают, что покруче. А избранных кудрями в глубокий таз сгрудили, чтобы ошпарить живым кипятком, когда тот от печи зайдет.

А в это время Елизавета перемыла посуду, потому что ничегошеньки не понимала в банном искусстве, и, оставшись одна в горнице, подошла к родительским иконам, которые впервые видела так близко. Много в этот раз было у нее впервые. Немало лет прожила с мужем, а не знала, что он из таких интересных мест, по дороге под Ростовом в домик Петра заезжали, оказался цел еще на берегу грозного озера, где царь флот потешный соорудил, – но пугает ее собственная странность, потому что дотронувшись до Петровского баркаса рукой, увидела она дно самой лодки, да не как-нибудь, а золотую рыбкой из воды: с налипшими ракушками, со щуками и севрюгами, плывущими мимо, с концами весел, отгребаящими воду. Не музейным экспонатом стоит, а плывет Петра баркас, наполненный его задиристой ватагой, того гляди окажутся все в воде. Не запомнила долго ли, коротко ли это было.

И совсем перевернул ее представления Загорск, Сергиевская лавра, зацепив гармонией храмов, богатой и искусной резьбой их отделки, филигранностью крестов, устремленных в вечном томлении к тайнам, возвышая дух и мысль человеческую, устанавливая предел существования и отсутствие такового; не зная ничего о Боге, о святости,





ощутила макушкой сопричастность и недостижимую бесконечную даль. Она ушла от всех, ей хотелось быть одной, чтобы вникнуть, понять так, как ощущала, и осознать, что же она чувствует?

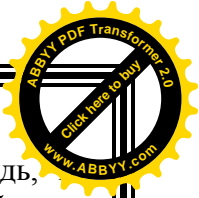
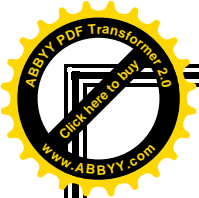
Там она была свидетельницей, как стремительно зашел в храм, оставив за собой распахнутой дверь, высокий господин грузинской наружности, как бросился он на колени перед большой во всю стену иконой Богородицы, сложив руки перед собой, и страстно, не видя никого, молился, а затем, в момент облобызав икону, резко вышел, застыв на миг в просвете открытой двери, размахивая в порыве полами длинного черного пальто. Просил, умолял, клокотал рыданиями, потрясая в ней привитые основы материального мира: – что это такое в наше-то время? Ей это было не доступно, не знакомо, не видано.

И вот у тети Любы иконы можно рассмотреть. Знаки прошедшего времени, которое теперь – история. Чем могут они сегодня помочь, на стыке смутных перемен, разобраться: кто же был тогда не прав? Елизавета подвинула табурет и встала на него, будто собиралась перебраться через громадный и глухой забор собственного невежества, вглядывалась в темные, почти черные лики, нехитро украшенные бумажными цветами, пытаясь проникнуть в смысл неясных очертаний? Она стояла, смотрела в просветы иконы и задумалась о сыне, о служивом своем солдате, призванном в армию из института, после первого курса. Шла тягучая необъявленная война в Афганистане, и страшно было за него, потому что возвращали оттуда цинковые гробы безответным матерям. Рожаем сыновей мы, растим мы, а распоряжаются их жизнью чужие! Если б хоть один мужчина родил ребенка, то войны бы на земле прекратились. Да разве ей – Земле – нужны такие жертвы? Если у меня есть Родина, есть у моего сына Родина, то она есть и у других. Значит, все одинаково будут стоять за свое Отечество, и им чужие идеи – пустой звук, а потому к чужеродному, как к врагу, непреходящая ненависть. А Земля вместо того, чтобы рождать, будет обнимать гробы юношей, а ее спросили, хочет ли она того? Левушке повезло, он оказался в первом призыве, который не отправили и не отправят на войну в Афганистан, – ее уже заканчивают с оскоминой на зубах. Он служит в Москве, и потому проездом все с ним повидались, что для матери стало великим счастьем! Крыльями закрыла б его головушку от беды, если бы они были – крылья... Поставила Елизавета на место табурет, поправила скатерку ладошкой, и тишину комнаты изумил ее вздох, лопнувший из под ложечки, из под грудины. Она пошла искать Анечку.

Баня была готова. Первыми в пар зашли женщины. Красиво сложен человек, но последнею Бог сотворил женщину, вместив в нее все сокровища и тайны искусства сущего: будто на светлом лике луны он расставил звездами глаза, двумя соколиными крыльями разметав над ними брови, оставляя тонким хребет носа, пробудив на губах цветение розовой магнолии, остановив зарю на свободных от зарослей ланитах, украсив водопадом пенных кудрей, шелковых, как нити шелкопряда, отполировав кожу, будто морской прибой – прибрежный мрамор, убрав все лишнее, на плоскогорье выделил две горные вершины, и на кончиках рук и ног засветил по десять крупных жемчужин.

В деревянной баньке четыре женщины, разные по возрасту, то терялись в туманной завесе, то блекло проявлялись сквозь нее, обнажая наготу вышеперечисленных достоинств, которыми в той или иной мере обладала каждая женщина. Мила и тетя Люба парились, поочередно нахлестывая друг друга березовым веником, а городским Елизавете с Анечкой такое было в диковинку.

На поддоне лежали раскаленные камни, которые шурились раскосыми расщелинами, стискивали терпеливо широкие скулы и, тяжело дыша плоскими ноздрями, с шипением изрыгали пар из воды, заправски подброшенной из туюска тетей Любой. Если вглядеться, то можно различить и другие торчащие части несуразной каменной бабы – то

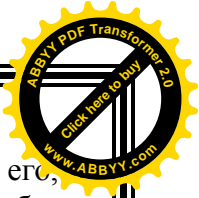
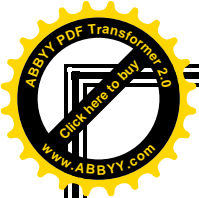


растопыренные кривые и короткие ноги, то повисшую чуть наметившуюся грудь, отутюженные степными ветрами и ковылем грубые ягодицы. Давно забыт Дажьбог, не властвует над страхами людей Перун, а здесь последнюю службу несет, когда-то грозная воительница капища, веками охранявшая границы от врагов, устрашая их, насмехаясь над ними и разделяя владения. Пш-пш-пш!

И вдруг, подключился другой звук: Цыд-цыд-цыд! «Кто это?» – спросила Анечка. Тетя Люба пояснила: «Это сверчок, Авдеюшка! Давно здесь живет. С ним, как с баннушкой, беседуем, я ему свое, а он мне свой граммофон включает. Иногда забывает речь, тогда все начинай сначала! Вот опять забыл, замолчал, да чуть погода опять зачнет!» И верно, через короткое время тонко запиликал, запищал и затренькал невидимый сигнальщик, посылая позывные, забавляя нехитрым концертом с пожеланием всем здоровья и легкого пара.

Вышли простоволосые женщины под звезды, которые, будто в зернохранилище, грудились насыпями, среди них выделялись метой созвездия, сверкали эполетами Плеяды и в горделивом одиночестве самодержавно стояли планеты. Всей гладью распаренной стопы вклеились в землю ноги, а голова задралась вверх, и глаза, неотрывно впитывали магнетизм притягательной и не доступной дали галактического эфира, где в центре господствовало созвездие льва, царственно разметав звездную гриву, мерцающая золотым стеклярусом на кончике хвоста и положив на черный бархат неба величественно лапы.... Когда, сжавшись наверху под стрехой, прыгаешь, вытягиваясь во всю длину, в горы зерна, и скатываешься по сыпучему шороху вниз, так и с размаху, пролетая по звездному накату, вослед догоняет музыка кристаллов, молекул и формул, вплетенных, как в венки, в симфонию головокружительных, божественных аккордов. «Бескрылой не вернусь домой!» – подумала Елизавета, отстав ото всех. «Мама!» – позвала Аня. – «Иду, доченька, иду!»

Федор собирался парить отца, и потому, присев перед чаном с вениками, ошпаренными крутым кипятком, размягченными и душистыми, выбирал покурдрей и полегче, с тонкими, гибкими концами, чтобы березка-целительница сняла его тревогу и страх за старого отца, годами, как метрономом,двигающегося к уходу, да взяла вместе с сыновней любовью его силу и влила ее в дряхлеющее тело, добавляя вопреки всему еще годок, да еще, еще... Он выбрал два – веники были те, что надо, чувственно слились с его руками, послушные его воли и умению. Отец покорно лежал на топчане, когда Федор, раздвинув собой пар, приступил к обряду: он сбросил с листьев на тело отца жгучие капли, которые, достигнув спины, понеслись вдоль тела до пят и бегом обратно, кольнули плечи, заставив сжаться, вслед горячим брызгам, мышцы, а затем, приклеенные кончики мокрой листвы прошли по его плечам, спине, задев ягодицы, погладили ноги, и...шлеп! Удар вдоль спины не причинил боли, следующий лег рядом, и шквал их понесся по плечам, по ягодицам крест на крест, все набирая и набирая быстроту. Передышка – это Федор снова их сунул в чан, размягчить и смочить подсохшие листочки, сбросил на каменку капли, жажнул туда же воды и продолжил вихревой танец снова по икрам, по пяткам, по розовеющим бедрам, с двух сторон, то не прикасаясь, а только сгущая пар и березовый дух, то ожигая всей шевелюрой березового веника рдеющую спину отца. «Ну, как отец?» – «Ох, Ох, Ох!» – только побрякивал тот, давно его так не парили, тело быстро перестало сопротивляться нахлестыванию, да оно и не поспедало за ударами, а потому сдалось, разморилось, расслабло, насыщаясь целебным эликсиром. Федор, напарив отца до изнеможения, поставил его да и окатил из ведра холодной водой с головы, на что отец рассердился: «А ну как заболел?» Федор завернул его в белую простынь, слегка прижав к себе, и сказал: «Ни за что! Только помолодеешь!» Игорь смотрел на все это, как на дикое

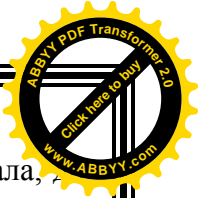
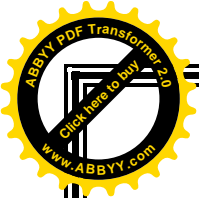


представление, когда поднимались буруны пара под руками дядьки, загребающими его, разлетались клочьями во все стороны под вихревой пляской лохматых веников; ему было бы жаль деда и страшно за него, если бы не видел, как был доволен старик. Дядька окатил себя колодезной водой и повернулся к парнишке: «Ну, а теперь твой черед! Ложись!»

На другой день с утра отец собирался навестить родительские могилы, он не хоронил отца и мать из-за войны, да и потом не очень-то навещал, занятый то службой, то семьей. В этот раз душа требовала настойчиво, сосущей грустью, найти последнее пристанище родителей, заставляя о них вспоминать и печалиться, и неясно было: то ли это их тени в тоске звали его, приближая к себе, то ли он ступил на ту тропу, что вела его к ним. Одно он сознавал отчетливо, что живой мир все также ему дорог, и все еще полон красок и звуков, что по-молодому он все еще нежен и к женщинам, и к детям. Но заметно – отчего-то стал трепетно тревожен ко всем проявлениям увядания в природе: будь это, падающий лист с дерева, или надломленная ветка сосны, или затерянный пруд с дырявым деревянным пирсом. Все изъявили желание тоже поехать с ним, но уже на утро планы были нарушены, потому что заболела Анечка, а Елизавета не могла ее оставить в тяжелом состоянии, тетя Люба тоже осталась с ними, остальные до наступления полной жары отправились на погост.

Анечка не могла ничего есть, лежала бледная, с голубыми тенями под глазами и около губ, ослабевшая от навалившихся на нее страданий. Елизавета была в тревоге, потому что Анечка никогда не болела легко, и, однажды, пережив почти потерю дочери, она при ее недомогании испытывала внутренний, необоримый страх, который исчезал по мере выздоровления. Она перебирала лекарства в аптечке, чтобы оказать первую помощь Ане, когда к ней подошла тетя Люба и, отстраняя рукой таблетки, сказала: «Не давай ей ничего, я ее вылечу. Будь со мной, смотри и слушай!» Она полезла, как еще недавно лазила Елизавета, с табурета к родительским иконам и вытащила из-за божницы белый изо льна узелок, положила его на свой парадно цветущий стол, принесла блюдо обычное, эмалированное, со светлой стороной внутри и коричневатой-серой снаружи, наполненное прохладной, свежей водой, а затем подвинула рядом два табурета и предложила Елизавете сесть рядом. В комнате было тихо, только тикали ходики, какие уже и в магазинах не продаются, с гирьками на цепочке, с потертой зеленоватой краской, они отстукивали громко секунды, пока стрелка, толчком и натужно хрустнув, не перескакивала на другой паз. Не спеша развязывала ушки узелка тетя Люба, а затем, открыв, разгладила их вширь по столу выработанными руками и показала камешки, вроде морской гальки, серенькие, гладенькие и небольшие.

– Не сомневайся, это камешки не простые. Еще я девицей была, нас целая ватага девчат тогда собралась, и отправились мы в Загорск под Троицу на праздник, а дни стояли удивительные, теплынь необычайная. Как сейчас помню, иду в летнем платьице из батиста, справили мне его матушка с батюшкой, будто на утренний туман полегли маленькие яблоневые цветики по всему полю, платочек такой же на косах радел. Шли с песнями, знамо дело пешим ходом, с березками в руках, а у меня были веточки с нашей красавицы: гибкие, гнутся дугой от сережек махровых. Стояли службу в таком богатом великолепии, от силы голоса священника свечи клонились, и не понимала много, а молилась за свое счастье на земле, из девичества торопилась выскочить. А потом ныряли мы в ключи под монастырем и искали чудотворные камешки, я по ту пору более всех их повиытаскала. Глубоко ныряла, вода чистая, глаза откроешь и смотришь святые лики, кои со дна на тебя глянутся, а потом несешь сонной монахине, та от старости дремлет бывало у окошечка, кажешь ей, а она и откладывает пустые в одну сторонку, а чудотворные возвращает, вот пять у меня и оказались. Ими и лечу деточек, а вот свою не уберегла,



девяти месяцев от роду помер, не было еще во мне самой силы никакой, не удержала, с тех пор плачу. Смотри, Лиза, кладу я эти каменья в воду, и любуйся, как зачнет вода кипеть да булькать. Вишь, вишь, как поднимается, каким ключом пробивается, как играет! Вот так-то подождем, пока не утихнет, тогда и приступать можно.

Глядит Елизавета, диву дается, а все в исцеление не верит. А тетушка продолжает:

– Нут-ка кого здесь сама высмотришь, да выведешь?

Елизавета послушно стала всматриваться в очертания на камушках, и несмело произнесла:

– Крест вижу, вот на этом камушке.

– Точно, крест православный проявился. А еще?

– Мадонна с ребеночком.

– Верно, только зовется она Богородицей с младенцем. Присмотрись толи глаз твой, толи тебе они тоже глянутся. Смотри еще!

– Николай-угодник вот на этом камушке.

– Хорошо, он и есть, но лучше – Николай-чудотворец, много людям помогает, на Руси его, как и Богородицу особо величают. А еще?

– Больше не узнаю, как ни смотрю, а на этих двух – не знаю, кто?

– Вот этот и есть Сергей Радонежский, от него все и пошло в Загорске. А этот молодой – Пантелеймон-целитель, сила ему такая дана от Бога, врачевать. Вот и вода успокоилась, теперь я помолюсь за Анечку, и пойдем к ней.

Лежит Анечка, голова тяжестью налилась, а тело будто чужое, все больное, только сердце барабанит у самого горла и дурнота туда же подступает. Откроет глаза и видит сквозь пелену, на дверце шкафа, как на портрете, принца разодетого в расшитые жемчугами одежды, а чуть левее глаза поднимет – кажется ей трещинка на стене пауком, ползущим к нему; закроет глаза девочка и ощущает железные зубы во рту, которые одним рядом о другой потираются, а в отдалении бабка стоит и сматывает большой клубок ниток, причем без остановки нитку золоченую на него накладывает и поворачивает этот шар ловко и быстро. «А вот и мама с бабой Любой идут, мама тут, значит скоро будет легче».

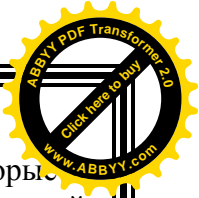
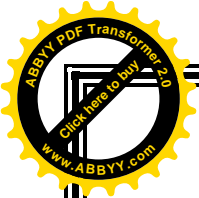
Несет воду тетя Люба, а Елизавета не замечает веса в ней, скользит у той нога, не придавливая пола, и вода в блюде не шелохнется, как льдинкой подернута. Подошла к Анечке, отлила половину воды в стакан, а другой начала брызгать ей на лицо да на кровать, опустила пальцы в воду и написала ей на лбу, на щеках и на руках благословенные кресты, поднесла стакан с водой к ее пересохшим губам, обняв ее за головку, стала ее отпаивать святой водичкой, приговаривая:

– Пей на здоровье, не для меня и моей славы, а во славу Господа нашего, Иисуса Христа! Уложила ее снова на подушку и добавила:

– А теперь поспи, золотко ты наше, поспи, родимая, поспи!

Не верится Елизавете в подобные чудеса, но что-то заставляло ее подчиниться необычным обстоятельствам, а более всего - удивляться, потому что Анечка и впрямь заснула. Не отходила Елизавета больше от дочери, пока не увидела, как покрылся испариной ее гладкий лоб и как над губой спасительным бисером засверкали капельки пота, как порозовели у нее ушки и тонкая, нежная кожа губ заблестела персиковой влагой.

Почтенный старик Иван с детьми, внуком и зятем искал на старом кладбище, где уже давно не хоронили умерших, могилы матери и отца. Сохранились изгороди, что отделяли места захоронения друг от друга, но в остальном была неприкрытая запущенность и заброшенность: проросли прутьями кустарники, запутавшись в чугунных

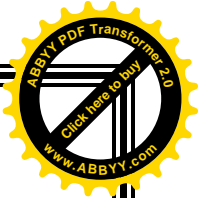


решетках и собственных разветвлениях, деревья корнями попирали насыпи, которые свою очередь заросли высоченным бурьяном, вперемежку с прошлогодней исполинской когортой сухостоя. Он больше часа ходил в этих дебрях, отыскивая родительский след, и ждал, что вот сейчас стукнет его сердце и укажет ему место, где покоится прах его матери или отца. Однако все было напрасно. Вдруг, Мила стала звать его, и он поторопился на ее клич, зацепился за гнутый, вылезший на тропинку корень, но удержался, взмахнув руками, только содрал кожу на блестящем от ваксы ботинке, и двинулся вперед скоро, полубегом, чуть припадая из-за больного коленного сустава. Мила нашла могилу его отца, своего деда, поочередно раздвигая длинной палкой траву и читая затертые имена.

Старик стоял и держался кулаками за ржавые прутья изгороди и смотрел, как Федор расчищал могилу деда, а земля не поддавалась даже под лопатой, потому что давно поросла многолетним дерном, а от жары корни оказались запечатанными глинистой коркой, которая намертво держала свою добычу. Федор подрубал упрямый бурьян острием лопаты, а потом драл его руками, выцарапывая камни с надписью на поверхность, и в этой схватке побеждал он, но только на время, потому что после отъезда хозяином здесь оставался дикий хвощ да репей. Старику Ивану было мучительно смотреть на разодранные руки сына, и на забытое надгробие отца: «Вот ничего и не осталось от буйной головы родителя, лишь имя на камне, да и то заносит земля, если нет хранителей». Не приезжали сюда и сестры, не нуждался когда-то отец ни в ком, кроме того и память держала обиды цепко. Детьми вместе с матерью ждали и желали его приезда из Москвы, где он работал официантом в какой-то ресторации, со страхом и любовью, особенно мать, которая вылизывала дом, прихорашивалась сама и поминутно выглядывала в окно. А он появлялся высоким и стройным гоголем, с тонкими на гладком лице усами и до зеркального блеска начищенных хромовых сапогах, будто он их только что за углом натер. А к вечеру так напивался, что глаза его белели, и в бешенстве, не разбираясь, он швырял все, что попадало под руку то в мать, то в детей, которые от страха начинали плакать, отчего он приходил в еще большую ярость. Остановиться он уже не мог, и ночь напролет дрожали дети с матерью во дворе за поленницей, а он носился вокруг дома с топором в руках, пока не сваливался мгновенно и намертво беспробудным сном. Отчего-то вспоминается, как он разбил губы в кровь коню, когда сам не мог после перепоя запрячь его, бил и бил кулаком в раздутые ноздри, в рвущийся от него темный глаз и храп, совал зуботычины, не сдерживая необузданной булькающей гневом крови. Никакой азиат не станет калечить своего коня без нужды, да еще такого, который унес его в ту зиму от волков, а отец в свирепости забывал о сострадании к малым. Как же Анастасии не быть злой, когда тряслась она в объятиях брата совсем еще крошка, готовая кричать за той поленницей, а он ей рот зажимал, чтобы не выдавала их убежища. Иван долго потом старался в отношениях с сестрами подменить собой отца, всех выдал замуж, дорогие подарки привозил, - лучше, чем жене и детям, был накрепко к ним привязан, но они не научились любить мужчин, и в замужестве вымещали отцовский разбой на своих мужьях, и те стонали под их беспощадной пятой, превращаясь в тихих пьяниц, а потом и к нему, брату, с возрастом нарастали их притязания, и немало горечи пережил Иван из-за сестер. Прошли обиды на отца, занесло их время, как имя на могильном камне землю, но чувствовал он нестерпимую жалость к испорченным, как на пленке кадрам, и можно было бы их вырезать, если бы это не было целостной лентой его жизни.

- Отец, а дедушка оставил семью? – спросила Мила.
- Да, это случилось уже без меня, он ушел к другой.
- А с другой он также скандалил?
- Нет, там у него все было хорошо, так рассказывают люди.





– Странно. Почему же с одной он был таким ужасным, а с другой жил ладно?

– Кто же это может знать, отчего одна женщина завладеет мужчиной, покоя лишит, а сама и не делает ничего для этого, а другая и спец, и жнец, и на дуде игрец, а не нужна. Мать не была виновата, что он таков, другой на нее бы радовался, но видно отец ее не любил... А может горячность остыла с возрастом, да любовница была молодой, детей у них не было, и ничего женщину не отвлекало от него, к тому же работала она в привокзальном буфете, что ему ближе было, чем хозяйство да сопливые ребятишки.

Очищенная могила казалась пустой коробкой, боковой оградой для которой служила лесная чаща из сорной травы, на дне ее лежал известняк с двумя датами: пришел на землю тогда-то, ушел с нее в такой-то срок, а между ними коротенькая черточка, суть и составляющая истраченной жизни человека, уникального дара быть.

Игорь не понимал: «Зачем мы здесь? Что деду надо у этой могилы, если столько лет не искал и не вспоминал да если его отец был такой циклоп? Кому нужна эта память? Никто из наших его не знал, вместе не жили, стоит ли проводить тут время? Жара уже достает до печенок, пора бы и возвращаться. Куда тревожнее, болеет Анечка». Старик Иван снял светлую в сеточку летнюю шляпу и, подставляя солнцу полысевшее темя, все стоял и стоял, держась за ограду: «Жаль, что затерялась мамина могила, ей бы поклониться за всю ее науку и терпение! Что ж, пошли пожалуй!»

Солнце перевалило за зенит, и было всем жарко, но отец рвался еще заехать на центральную усадьбу, чтобы проведать своего дальнего родственника, против чего все запротестовали, да и тревожила заболевшая Анечка, особенно беспокоился Федор, хотя об этом никому не говорил вслух.

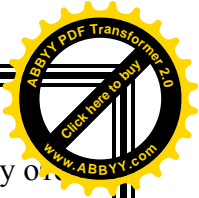
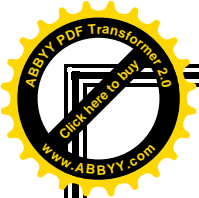
– Отец, мы съездим туда вечером, а сейчас нам пора вернуться. Тебе на такой жаре тоже может быть плохо, не торопись, все сделаем, как ты хочешь, за этим и приехали, – уговорил вернуться отца Федор.

Все обрадовались, когда узнали, что Анечка совсем здорова и уже поднялась, а Елизавета рассказывала и рассказывала каждому по очереди, как тетя Люба непостижимым делом, вылечила дочку, добавляя: «Оказывается, чудеса все-таки на свете бывают!» Она по-особенному теперь смотрела на тетушку, называя про себя ее доброй волшебницей, но не умела связать, как это было принято раньше, что в ней, обычной крестьянке было присутствие ангела, дарованного ей Богом.

На центральную усадьбу шли по деревенской улице. Дома притягивали взор, и первое впечатление от увиденного из машины лишь усилилось, потому что узорочье на домах поражало причудами и своенравием мастера, стремлением делать для каждого дома коронный штрих, который сразу же придавал жилищу отметину, как волнистое солнышко над крыльцом тети Любы.

– Эти дома – не все деревенские, много проживает летом москвичей-дачников, а свои в Москву подались, особенно молодежь, кто замуж вышел али поженился, а кто работает на всякой дрянной работе, но сюда не хочет вертаться. Тут труд потяжелше будет да разносолов никаких, тياتров, баров. А кушать все горазды. А с другой стороны пусть едут, ведь окромя пьянства после трудов, ничему здесь не научатся. Здорово зашибают ныне молодые. Вот соседи мои, три парнишки, а уж старшие двоя в тюрьме сидели, а малой за ними туда же целиться, фулиганят, воруют, ниче делать не хотят, хоть ты их убей! А мать хорошая, так ломала в колхозе, детей то и пропустила, – рассказывала тетя Люба.

Остановились перед домом, где проживал троюродный брат и одногодка отцу, безнадежно и тяжело заболевший. Это к нему торопился отец. Множество раз провожали они перелетных птиц, и помнили они тоже много, потому как росли вместе, учились,



ухажерами девочкам были, даже на фронте судьба уважила – встретились, и поэтому он в каждый свой приезд заходил к нему. Не просто в этот раз было переступить порог друга, но не унижать его жалостью он пришел, а скорее – чтобы попрощаться, потому что и сам больше не рассчитывал осилить дальнюю дорогу на родину. В дом зашел только отец с Федором, а остальные остались их ждать на улице, чтобы не смущать домашних многолюдством. Они стояли, как оказалось, на бывшей церковной площади, под ногами выступала вековая брусчатка, осевшая глубоко в землю, и лишь самые остроносые и неровные камни продолжали метить кругами площадь перед церковью. Скоро сорок пять лет как закончилась война, и следы разрухи давно исчезли под руками героического поколения, но эта церковь зияла пустотами и провалами вместо окон, ее кирпичный красный скелет был все еще изящен и рвался надорванной струной от прочного фундамента к пространному небу. На ней сохранился остов крыши, и через его ребра на трагической ноте держался винтом закрученный в спираль, как после торнадо, выверченный, но устоявший на своем месте крест. Граненные уступы занесло землей, успевшей прорасти замшелой травой, и высоко под голым костяком крыши верхняя кромка яруса дала приют деревцу – такой тонкой рябиночке, что она согнулась под тяжестью обильных гроздей, и свесилась над чернотой окон густо-алыми ягодами, с горечью по стенам истекая кровью. Рядом стояла почти без разрушений колокольня, но сквозь просторы арки и пустоту сердцевины багровело косяками небо, пронзенное заходящей жаровой солнцем.

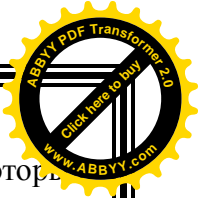
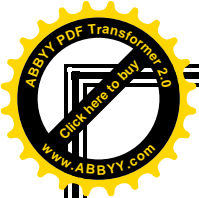
– Неужели это с войны? – поразилась Елизавета.

– Нет, в революцию свои же гаденыши рвали. Больше глупая молодежь старалась, да с крестом ничего не сумели поделать, так и стоит, – с печалью сказала баба Люба.

– Это же вы семьдесят два года смотрите день за днем на такой ужас! – прошептала Елизавета.

Из верхнего окна церкви неожиданно сорвалась и полетела на них птица, рябая с непомерно большими дугами крыльев, где плотно и напряженно раскрылись, будто выпущенные из колчана перья. Птица заслонила рябиновую истому, а ее загнутый узкий нос под желтыми неподвижными кругами, приближал к людям предупредительное: «Кугу! Кугу! Кугу!». Тень серо-бурой совы легла в предзакатный час на лица смотрящих людей, застав от них и растерзанный, молчаливо скорбящий храм, и прощальный, плазменный блеск дневного светила, и грубо погнутый, но устремленный изысканной стрелой крест: от земли – в бесконечность космической выси. Птица пугала, продолжив горловой клич: «Кугу! Кугу! Кугу!». Она, будучи властительницей всеми покинутого храма, одна во мраке созерцала длиннополые хитоны на росписи стен, от белизны которых порой слепли ее глаза, и тогда она прикрывала их, чтобы мгновенно распахнуть вновь, дабы неотрывно, подолгу фотографировать бессмертные творения совиными орбитами. Что захотела разглядеть она в людях, набросив на них свою парчовую тень, и кто добровольно сделает выбор, встав под ее крыло? Как ей передать этим существам свойства различать и среди кромешной тьмы и безнадежности маленькую капельку дождя, дрожащую на чаше листа клевера, и галантное движение растущих лепестков лилии на озере, и причудливо сплетенные узоры деревьев, да еще прижатые уши зайчишки, наметом скачущего через тропинку в кусты, или привычные шаги путника в легких сандалиях на равнине широкого, широкого поля! Символ мудрости и царственности в этой невзрачной птице, обладающей одним преимуществом – слепнуть в восторге от света! «Кугу! Кугу! Кугу!» – звала и отстраняла гулким эхом от себя она.

Наутро гости, распахнув дверцы машин, закладывали вещи, а тетя Люба суетилась: то она несла дышащие жаром шанежки с творогом на дорожку, только что вынутые из



печи, то с грядочки огурчики, молоденькие, темной зелени и в пупырышках, от которых было колко пальцам, то для семян ведро небывалого размера картошки, потому что уваристая, рассыпчатая и хороша на вкус, а то тепленькое яичко, которое только что снесла ее любимая курочка. Прощаясь, целовались с ней еще, и еще, и еще.....

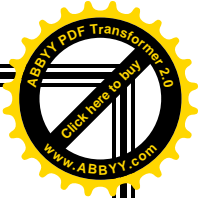
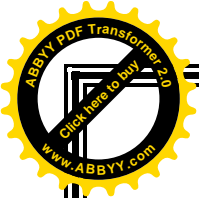
Уже почти расселись по машинам, как неожиданно закричала Мила, и все, повернувшись, увидели, что замертво лежит их тетя Люба на пригорке у дороги, раскинув на стороны руки. Будто волной поднялись родные со своих мест, обступили со страхом потери тетюшку. Склонил ухо к старушечьей груди Федор, и все с надеждой и болью смотрели на него. «Дышит! Скорее нашатыря!» Ей дали понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте из аптечки машины, отец приготовил дробную часть нитроглицерина, что был всегда при нем, но так и не успел им воспользоваться, как открыла глаза тетя Люба, и смущенно улыбаясь, заговорила: «Это со мной бывает. Бьюсь головой, когда расчувствуюсь, не беспокойтесь из-за меня, поезжайте!» Но никто не двинулся с места. «Вряд ли сегодня поедem», – подумала Елизавета. Усадили тетю Любу на лавочку, а рядом сел отец, который придерживая ее сухую руку на запястье, считал пульс и слушал ее:

– Вот, Ваня, заново расставанье, времечко, ох, времечко опять пробегло, как ручьи по весне, вон ты какой сивый стал, а сеж красив, а я то и совсем износилась. Свидимся ли еще когда на этом свете, Ванечка? Свидимся лиии?..

– Приеду, Любушка, если буду жив, приеду! – скорее утешал, чем обещал он.

Вослед, убегающим в занавесе дорожной пыли машинам, долго, обезножив, сидела и махала тетя Люба белым бумажным платком, снятым с головы, словно белая птица взмахивала и взмахивала узкими крыльями, не в силах набрать высоту и полететь туда, куда рвалось и просилось уставшее от одиночества сердце.

Е.А. Гусева-Рыбникова



## РАСПАХНУТЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Последние благодарные поклоны – и с нарядных кресел концертного зала Петербурга понеслись овации плеском парусины на шквальном ветру. Плавилась от эмоционального накала люстры и прожектора. Закончено торжество юбилейного вечера знаменитого композитора. Допоздна многогранным калейдоскопом выстраивалось исполнение его музыки великими музыкантами, как столичными, так и прилетевшими отовсюду, где они бескорыстно служили высокому и чистому вдохновению. Сцена, будто пустыня после дождя, превратилась в розарий. Розы, призванные украшать своей гибнущей красотой все земные радости, расстелились по полу уральскими самоцветами: от трогательно белых, затем нежно-розовых, неудовлетворенно-желтых, буйно-оранжевых – до страстно- бордовых, переходящих почти в черноту. Все – как в музыке, а в музыке – как в жизни! Что же это будет за жизнь, если исчезнет музыка? И что это за музыка, если в ней не станет жизни?..

Устал маэстро за этот растянувшийся вечер! Любитель тишины и домашнего уединения, огня в полумраке камина, черного кофе в личной чашке из семеновского фарфора да нетронутой нотной бумаги, которую он заполнял звуками, сокрушавшими его наповал, если бы не выручали бегущие в бескрайность пять линеек на листе...

Ежегодно, кроме последних двух лет, он в этот день сбегал ото всех, оставляя жене записку с просьбой принимать гостей без него, простить ему причуды творца и ждать, ждать его возвращения. Она никогда не спрашивала, а он никогда не рассказывал ей, куда исчезал. Только эти несколько дней в году наполняли его бесценной свободой; он переставал существовать для тех, для кого он был реальностью, и не начинал, для тех, кто вовсе не знал его. В этот раз жена надеялась, что все обойдется и он никуда не уедет – слишком пышно отмечали юбилей, слишком много было именитых гостей. Он тоже надеялся, что останется....

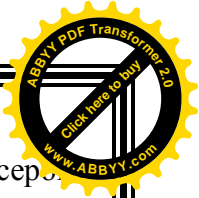
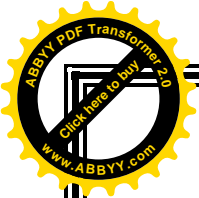
Маэстро положил шляпу на стол купе класса СВ, раздвинул шторы и пристально взгляделся в огни громадного города, бьющие в темноту вагонного стекла всклокоченными вспышками, которые бежали друг за другом с высотных домов. Поезд мчался с эксклюзивной скоростью в Москву. Он же в нее прибывал транзитом, потому что далее направлялся в небольшой провинциальный городок, куда нужно добираться еще почти сутки. Купе он выкупил целиком, и никоим образом не ждал соседствующего пассажира.

Неспешно, чуть сутулясь, маэстро разделся и повесил серое английское пальто на вешалку, затем сел за стол, разглядывая черный отблеск окна и машинально поглаживая скатерку на откидном столе.

– Все-таки еду, опять еду. Не подчиняюсь ни воле, ни разуму, ни обстоятельствам, только влекомый смутными побуждениями, – все бросаю и ударяюсь в бега. Что же это за феномен, что сильнее меня, обустройства и даже долга? Я ведь человек прежде всего долга, а вовсе не молодой олень, у которого наступает гон, и он кораллами своих рогов раздирает кроны деревьев, устремляясь к одной, данной природой, цели. Однако годам и времени мои исчезновения, верно, не подвластны.

«Еду... еду... ду...ду»... – стучат в такт колеса.

– Покорно, Вас, прошу меня извинить, что я нечаянно стал Вашим спутником в дороге. Я видите ли, вынужден ехать зайцем, хотя на зайца ни в коей мере не похож. В то время, как вагон мыли и проветривали, было открыто окно, и, хотя в окна входить неприлично, я все-таки залетел через него, а потом окно закрыли, и мне пришлось затаиться, чтобы проводник меня не прихлопнул, как безбилетника.



Маэстро был поражен и молча смотрел на говорящего ворона, головастого и серого с боков, который сидел на полке для шляп и ничем не отличался от всех городских воронов и ворон. Ворон вел себя вольно. Он постучал клювом о стенку, повертел головой и уселся поудобнее, явно собираясь продолжить начатый разговор. Трифон Михеевич Гребенников не мог себе уяснить, то ли это ему видится во сне, то ли его воображение разыгралось не на шутку и он бредит. « Это какой-то нонсенс» – подумал он.

– Покорно, Вас, прошу меня извинить, я не представился. Граф Воронин. Да – граф, а что похож на базарную ворону, так это оттого, что сблизился с народом. Вы, ведь знаете, какие были времена, все становились детьми сапожников и прачек, и я не был лучше других, - как все, как все... А что поделаешь, выживали. Инстинкт самосохранения силен, только вот внешность теперь, хм, масть утеряла, черт знает на кого похож, беспородный, как все, как все.

– Ваше сиятельство... - Гребенников запнулся, переборол неясность ситуации и продолжил:

– Господин Ворон, как прикажете вас понимать? Я не обучен вашему языку, а все-таки его разумею. Отчего?

– Очень просто. Люди потеряли свойства общаться с нами, высоко поднялись над своей и не своей природой, а лучшее при этом утратили, но есть еще, есть индивидуумы. Вы – тот человек, который в совершенстве владеет музыкальным слухом, он то и дает вам дополнительный сигматический слух. Из-за него мы и понимаем друг друга. У Вас такой дар, и у меня тоже. С Вашего позволения, разрешите продолжить беседу?

– Что ж, ваяйте! Мне даже любопытно.

Граф спланировал сверху неуклюже и пересел к столу.

– Я ведь вашу матушку помню, истинная была княгиня, сама-то горячая, своенравная, властная, все чтоб было по ней. Когда ваш старший братец Иван невесту в дом привел, что тут началось! «Только через мой труп», – отрезала ему. – Она-де – простолюдинка, испортит род, кровь-де будет дикая, дети – дураки. А помалкивала, что и в ней текла кровь от татарских князей, высокородная, да дикости с лихвой хватало. Дас...

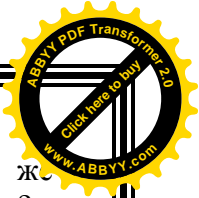
– Я помню тот день, когда Ян привел Веру. Она была удивительно красивая, светлая коса лежала на высокой груди, а глаза – густо васильковые, грустные и открытые. Настоящая русская красавица. Она училась на женских курсах, была образованная, знала языки. После революции преподавала в советской школе немецкий. Мама горячилась, потому что Ян ей казался еще слишком юным для женитьбы, а себя она считала слишком молодой, чтобы становиться свекровью. Ян был очень влюблен, и матушку не послушал, а Вера? Вера разделила с ним его судьбу.

– Ваш брат был белый офицер?

– Мой брат был кадровый военный. Он закончил морское училище и служил офицером на Балтике. В революцию остался верен присяге, потому и воевал против. У него плохо было с инстинктом самосохранения, но с честью все в порядке. Вам досадно от близости народа, а он отказался стрелять в свой народ. Я не знаю всех тонкостей, но впоследствии он преподавал в военной школе для красных офицеров и не скрывал своего прошлого.

– Из-за таких как Вы, либералов, любителей народа, пожинаем высохшие плоды. Что такое народ? Сыты, обуты, пьяны, нос в табаке и тогда народу хорошо, и за посулы этакой жизни он бездумно ползет погибать, – за обещание, за идефикс. А, если нет возможности этого достичь, то кричит, что обманут и покинут. Кухарка будет управлять государством! А кто будет рожать тот самый народ? А сопли кто детям будет вытирать? Еще Конфуций сказал, что, если чернь начнет управлять государством, то такое





государство не продержится более трех поколений, крах неминуем. А вы туда же народом! Он руку бьющую его целует, и вы... Лично вы разве не сделали то же самое?

– Я надеялся, что этим спасаю брата.

– Благими намерениями выстелена дорога в ад, не так ли?

– Но кто знает иную дорогу? Я расскажу, куда и зачем я еду и как это все началось.

А прежде определимся в отношении народа. Конфуций был одним из императорских управляющих и вряд ли ошибался по поводу государственности, но я приведу вам другое мнение. Когда Эзопа спросил огородник, отчего сорняки растут в таком количестве и так упорно, что ему постоянно с ними надо бороться, тогда как той же капусте, чтобы она выросла, приходится столько раз поклониться? Эзоп ответил: «То, что ты считаешь сорняками, – родные дети земли, а капуста – это лишь твоё детище». И я так понимаю о народе, что это и есть родные дети земли, а кто этим пренебрегает, может оказаться выхолощенным. Смею предположить, что не либерализм всему виной, а боязнь оказаться одинокими в оранжерее, вместо луговой воли, где летом Господним цветут на просторе полевые травы. Все семена перемешала революция, встрясла и перевернула закрома, собранные на Руси веками, и выращивала своё детище, хорошее ли, дурное ли, но в нем не было место обыденному, привычному, устоявшемуся. Помню, когда Революция стала совершеннолетней, наступил 1935 год. Семья брата состояла из него самого, жены Веры да матушки, которая с ними проживала, а детей им Бог не дал.

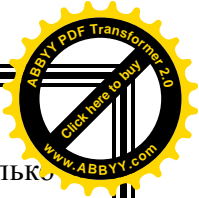
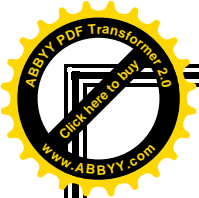
– Ваша матушка острая на язычок, все приговаривала: «Что же это мы теперь без Верочки бы делали? Она у нас будто курочка в дом золотые яички носит». Невестка-то Вера учительствовала в школе, – по ту пору не то, что сейчас учителям большие оклады установили, а купюры были огромные по размеру. В день зарплаты Верочка кошелку денег-то и приносила.

– Возможно. Я тогда жил в Москве. Я был молод, но уже признан как композитор, и как раз получил заказ написать музыку песням для нового кинофильма. Что-то крутилось, а по-настоящему не звучало, да и столичная суэта очень мешала. Я поехал к брату, в небольшой городок, где они обосновались. Их дом был обустроен по-нашему: тут и портреты великосветских сородичей, и в серебряных окладах древние иконы, и вазы с цветами, и белоснежная скатерть, а главное – стоял в большой зале мне с детства знакомый рояль. Я окунулся в родную стихию, как рыба, нашедшая свою заводь. Днями я напевал и записывал музыку, играл для развлечения в карты с мамой, вечерами болтал с Верой и Яном. Политикой совершенно не интересовался. Я испытывал удовольствие от всего! Иногда я замечал сумрачность моего брата, но он всегда был молчаливый по натуре, поэтому ничто меня не настораживало. Лишь однажды за вечерним чаем он сказал: «Я консервативен. Мне дороже старый жизненный уклад, обычаи и традиции. Как человек военный я за абсолютную дисциплину и порядок в армии, но и там я – ярый противник инквизиции. Мне многое кажется ныне неправдоподобным и безумным, даже губительным для России, но более всего уничтожает русских – это свободная любовь».

На что я ему по молодости возразил: «Разве не в браке засыхают любовные всходы? Быт надевает воловью упряжь на двоих, и как тля, мелочно съедает любовь. Да скоро и не будет никаких наций, только советский народ!» Он мне более не ответил ничего.

– Ну вот, теперь понятно почему вам поручили писать музыку для нового кинофильма!

– Я думал, что из-за моего таланта! Если позволите, я продолжу рассказ... Конец мая. Стояла необычная для этого времени теплынь. Везде в городке, во дворах и перекрестках, цвела сирень. Этот запах заполнил дом. На белом, как альбомный лист, столе в прозрачной вазе стоял роскошный букет фиолетовой сирени, сортовой, с

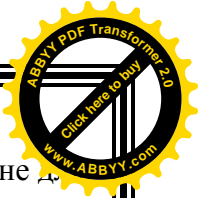
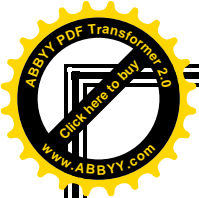


остроконечными гроздьями, торчащими вверх, тогда как виноградные висят только внизу. Я искал пятилистник среди них – на счастье, а найдя его, тихонько ото всех съедал, как в детстве. Предвкушение чего-то исключительного не покидало меня... В послеобеденный час я искал ускользящую от меня мелодию, перебирал клавиши, что-то записывал, и вот, сквозь выстроенные в голове звуки, услышал хлопок входной двери и женские голоса, один из них был Верин, а другой .... Я ее предчувствовал, предсказал себе, – не видя, узнал! Когда она вошла и остановилась – полуприкрытая сиренью, с глазами антилопы, над которыми висели короткие черные волосы, худыми руками придерживая ветки, готовые распастыся, если она их отпустит, – то ноты с моих тетрадей без всякого такта заколобродили и посыпались по моей крови, застряли там стопором, не давая мне возможности пошевелиться. Вера нас представила. Женщина без смущения прямо смотрела мне в глаза, и назвала себя: «Ксения Львовна». Ксения, Ксюша, Кассандра – билось у меня в голове, и, преодолевая онемелость, я выдавил из себя: «Гребенников», – потом добавил хрипло: – Трифон. Трифон Михеевич»...

Она уже отошла с Верой, положила мешавшую ей охапку сирени на низенький у окна туалетный столик и легко обернулась в оконном просвете, будто не снаружи облитая светом, а сама излучала его обрамление. Сколько длилось ее присутствие? Секунды, минуты, миг, а для меня наступила вечность, ибо из вечности я ее заказал. Она достала из желтого кожаного небольшого портфеля стопку зеленоватых тетрадей, перевязанные тонкой веревочкой, и выложила их на стол, а Вера положила еще две таких же. Она помогла, очевидно, Вере донести контрольные работы, которыми учителя в весну заваливали учеников, при этом и сами от них уставали. Я за роялем попытался освоиться, подчинить себя благоразумию, но застрявшие в венах ноты меня не слушались. Вера попросила меня сыграть что-нибудь для Ксении. Как зубному врачу все друзья показывают свои худые зубы, так и человека за роялем обязательно просят сыграть что-нибудь, не подразумевая ничего конкретно. Я молчал, не в силах говорить, так как охрип до неприличности. Ксения Львовна приняла это за отказ и заторопилась домой: «Не буду мешать Вашей работе, занимайтесь и пишите ту прекрасную музыку, которую распевают повсюду, а мне доставляет удовольствие слушать ее в кино». Она говорила чуть грустнее и раскатывала «Р» мягко, по-французски. Я испугался, что она уйдет, и внутренне удивился, как же она может вот так распрощаться, может быть, навсегда, когда я столь тесно ощущаю связующую нас узнаваемость, уже бывшую до нас привязанность – нам только было нужно встретиться. Я начал играть. Она стояла с желтым портфельчиком перед дверями из зала, готовая удалиться в их проем, но полилась пленительная мелодия моего сердца, зовущая ее остаться, задержаться, хотя бы на долю секунды: «Для тебя, для тебя, для тебя! Ничего, ничего для себя...» Все мои дорогие сестры-ноты выбрались из окаменелости, из-за которой я был столь неуклюжим, и стали, капля за каплей, из моих чувств и нервов сочетать волшебный мотив любви; как птица сирин я ее зазывал, раскрывая в каждый последующий миг новые завораживающие и увлекательные мелодии.

Ксения Львовна села в кресло у туалетного столика, рядом со своей сиренью, и вдыхала отраву потрясающих меня до основания звуков, которые я умело выстреливал на клавиши или, почти их не касаясь, поднимал и поднимал солнечной паутинкой надежды до небес.

Я уже понимал, что ни Вера, ни она не могут сделать выдох, чтобы не дай Бог, не нарушить редкую гармонию упоительного транса... Я играл до тех пор, пока руки сами, с силой ударив последними аккордами по клавишам, не упали в изнеможении. Свет, музыка, сирень и Ксения – все слилось, разогнавшись по жилам, в головокружительном восторге, и сердце стучало под яблочком у горла.



« Я снова к Вам приду, если можно?» – сказала Ксения Львовна и протянула мне рукопожатия руку. Я готов был прижаться губами к этой маленькой ладошке, но пожал крепко в ответ, как это было принято в ту пору.

А потом я писал и писал музыку! Нотные листы ложились на пол, и укладывались в бугорки листьями осеннего дерева, сбросившего листву за одну ночь.

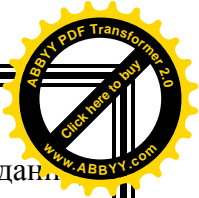
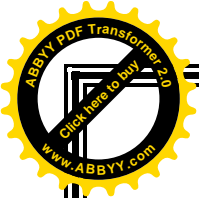
– Так была написана музыка к Вашему кинофильму?

– Да. Именно так.

– Вот, господин Гребенников, отчего был колоссальный успех такого дешевого и банального фильма – от чудодейственной вашей способности солнечно любить самому, генерируя это состояние в музыкальные фразы. Полстраны молодых дев после этого фильма ринулись доить коров, чистить хлев, выращивать поросят с мечтою о любви к мужчинам с черными, как мои перья, кудрями.

– Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...А музыка даже слов не имеет, но воздействие ее сродни сверхъестественному посылу, и редко кто на нее не реагирует. Я полюбил и всеми силами стремился добиться взаимности, и, конечно, я во всю использовал могущественное чародейство музыки. Ксения Львовна приходила почти ежедневно, усаживалась за туалетный столик, смотрела на меня печальными глазами антилопы и, слушая, изредка поправляла накрахмаленный кружевной воротничок или укладывала пальчиками за ухо черную волну коротких волос. Мне очень нравилось смотреть на нее. Она почти совсем не улыбалась, но лицо не теряло при этом приветливого выражения, скорее она просто была серьезна. Я ежедневно доставал свежий букет фиолетовой сирени и ставил перед ней на столик. Прослушав очередной концерт, она не задерживалась, спешила уйти, крепко пожимая мне руку на прощанье и, перекатывая нежно «Р», произносила: «До встречи. Не провожайте, мне рядом, я доберусь сама». Я не смел спрашивать о ней Веру, я упивался этими странными ничего не обещающими встречами и писал, писал музыку. В один из дней, когда я ждал ее прихода, принесли правительственную телеграмму, где меня срочно вызывали для прослушивания, и тогда я решил с Ксенией объясниться. Я не мог уехать без нее, скорее я мог отказаться от участия в кино, от моей столичной жизни, от всеобщего признания. Я безумно волновался, но выхода другого для нас не было, и я настроился решительно. В тот раз Ксения Львовна не шла. Было уже пять часов после полудня, собиралась гроза, я весь обратился в слух, но будто вакуум образовался передо мной. Стало страшно, что, если она не придет, пустота заполнит меня всего! Ветер погнал пыль по дороге, черное облако, разрастаясь, заслонило светлую часть неба, и тень Гулливером навалилась на дома, тротуары, клумбы и деревья. Воздух насквозь пропитался одуряющим запахом сирени, и молнии вспыхивали сквозь нависшую темноту, вертикальными ослепительными бичами. Их огонь сопровождался взрывами грома. Гроза, которая еще не разродилась дождем, была оправданием ее отсутствия и моей успокоительной надеждой. Когда пошел дождь, я перестал ждать, ушел к себе и лег, не раздеваясь, на постель и говорил, говорил мысленно ей о моей страстной любви.

На другой день я встретил ее после уроков в школе. Она вышла не одна, с ней была Вера, но я без обиняков подошел к ним. Какое-то время мы шли вместе, но, когда Ксения Львовна собралась повернуть в другую сторону, я шагнул за ней. Вера удивленно меня спросила: «Триша, а ты разве не домой?» – «Прости, Вера, но я намерен проводить Ксению Львовну». Мы шли рядом, и мне хотелось, чтобы мостовая никогда не кончалась, а длилась так, чтобы сохранялась иллюзия близкого горизонта, за которым не должно быть берегу, а только эта мостовая, по которой мы идем и идем вместе!



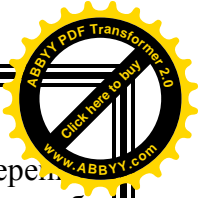
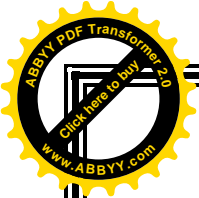
Ксения Львовна свернула на тропинку открытого городского сквера и неожиданно, чуть улыбнувшись кончиками губ, предложила: «Трифон Михеевич, может быть, мы здесь присядем?» – «Да, я очень рад. Мне необходимо с Вами поговорить».

Мы сели на обновленные скамейки, которые обязательно красились свежей, зеленой краской к 1-му мая. Над нами полыхала белой яшмою сирень. Я начал говорить не терпеливо и горячо и был похож на скакуна, бьющий копытом перед тем, как звякнет гонг: «Ксения Львовна, меня срочно вызывают в Москву, пришла с вызовом телеграмма. Это из-за нового кинофильма, но я не могу уехать без вас. Я вас люблю и прошу выйти за меня замуж. С того мгновения, как я увидел Вас, мое прошлое мне кажется бесцветным, а мое будущее не может продолжаться без вашей любви. Вы вчера не пришли, а я не знал, как дожить до утра, до конца уроков, до школьного звонка, до этой встречи. Я всего лишь музыкант, и если вас это не смущает, я заверяю, что буду вам надежным мужем. Выходите за меня замуж!»

Я смотрел на ее точенный и отстраненный профиль и во мне, будто маятник часов, который только что резво раскачивался и вдруг замер, остановилось сердце. Оно перестало биться, и наступила тишина. « Я замужем», – и не было вослед этому словосочетанию продолжения. Тогда, в пылу желаний, мне показалось, будто это не причина, чтобы нам разлучиться. – «Вы разведетесь и мы поженимся». – «Трифон Михеевич, вы меня, верно, не поняли, я замужняя женщина, и я старше вас. Я не могу быть ничьей больше женой, потому что мне не за что причинять мужу зло. Я не хотела и не делала ничего, чтобы вас увлечь, да во мне нет ничего особенного, чтобы вызвать такие прекрасные чувства. Вы, вероятно, меня выдумали. Вы молоды и талантливы, ваша музыка божественна, и я счастлива уже тем, что встретила вас и провела упоительные часы, наслаждаясь вашей игрой, а семейные неурядицы разве для Вас? Я не могу ответить на ваше признание : «Да». Я не загорелась от вашей страсти, я даже не затлела, потому что ваша музыка, которую я впитала в себя, исключила оскорбительное желание близости, она преподнесла другой сладостный напиток, не позволяющий мне быть нечистоплотной».

Что я тогда испытал? Сначала рухнул мир и я закувыркался в его осколках, а потом я обрадовался, – обрадовался, что я верно ее напоролил, распознал среди прочих и именно ей преподнес свою любовь. – «Я Вас еще более люблю, вы это знайте и перемен во мне не ждите. Я хотел бы переехать сюда жить, чтобы видеть вас, знать, что вы где-то рядом, потому что я не могу потерять вас насовсем. Вы вошли в мою жизнь и отказываетесь в ней остаться, это неверно...это невозможно...». – «Трифон Михеевич, я вас прошу, поезжайте! Мне нечего Вам добавить, я буду несчастна, если поступлю иначе!» – «Простите меня, я поеду, потому что боюсь нанести Вам оскорбление, больше, чем потерять возможность видиться. Но, если можно, разрешите поцеловать Вашу руку? Неужто на прощание?» – «Извольте», – без кокетства протянула она мне ладонь. Я прижался к ее узкой и худой руке губами, и через кожу ощутил выпуклость косточек, и, как тогда, снова ноты бурно разлетелись и застряли жгучими сигналами у меня в крови, отчего я не мог отстраниться от нее. Она высвободилась и сказала: «Прощайте, Трифон Михеевич!», – и по песочной тропинке пошла как-то вбок, искривляя правый каблук на ботинке.

– Милейший Трифон Михеевич, два года Вы упивались славой, получили за музыку к кинофильму Сталинскую премию, стали почти придворным музыкантом, не замечая или стараясь не замечать, что это был двор Ирода. Вы помогали возвращать детище, которое при рождении напиталось человеческой кровью, и долгое вегетарианство ему явно претило. Вы сочиняли по заказу песни, а настоящая музыка, для которой у вас был



развит дар, замолчала. Хотя песни ваши отмечены по заслугам, они бодрили шерошликующих демонстрантов того самого, теперь уже сытого и благодарного за хлеб насущный народа. А новорожденному снова требовалась красная жижка. Лес рубят – щепки летят, только щепками была живая человеческая плоть. Даже мы, вороны, не столь ненасытны, эдакое обнаружилось количество врагов у народа, что нарочно не придумаешь, и в их числе Ваш брат.

– Что мне ответить? Я был уверен, что моя близость к вождю охраняет и моих родных, а кроме Яна с Верой да матушки у меня никого не было.

– Неужто, вы, приближенный к зеркальным залам, были так наивны, что не понимали: вошедший туда не сыщет выхода, а будет множество раз созерцать себя среди избранных, отображения которых спроецируются через призму бесчисленных гомерических зеркал на площадях, зданиях, кабинетных и квартирных стенах, утверждая их исключительность. А ведь они все были, по вашему выражению, родными детьми земли.

– Господин Ворон, я музыкант, и на гребне волны случая был вознесен высоко, но, возможно, это и послужило причиной трагедии моего брата. Там, у повелителя судеб, повязывали в одну упряжку всех отрекшихся от родственных уз, от рода, а значит и самого себя, а на место узды надевалась невидимая личина преданности «Замыслу», овеществленная в инстинкт самосохранения и поработенная страхом перед знаменосцем этого «Замысла». Да, именно тогда, когда я действительно был обласкан наверху, награжден и возвеличен, и мне вручили Сталинскую премию, как народному композитору, - ведь и казнили и миловали от имени народа, – раздался телефонный звонок. Неизвестный доброжелатель сообщил об аресте Яна и Веры. На следующий день я выехал к ним, и для нашего дома наступил роковой год.

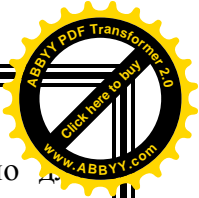
– Покорно прошу меня простить, но я вот тут в уголочке прикорну, подремлю, покумекаю. Время слишком позднее. А мне завтра по Москве себе пропитание добывать, по задворкам шнырять, занятие, прямо скажу, прехлопотное, а вы на ночь не про любовь, про ужасы зачнете рассказывать. Это не про Ксению Львовну слушать, не про музыкальные шедевры, не про фиолетовую сирень. А отчего это скажите в начале марта, а у нас купе сиренью пропахло?

– Я ее везу в своем кейсе. Мне в это время по специальному заказу ее выращивают в Голландии, потом доставляют самолетом, а дальше я ее везу для Ксении Львовны. Мокрой тряпочкой корешки обертываю, чтобы окончательно не завяла, а она при малейшем увядании благоухает гораздо сильнее, чем свежая ветвь. Я не буду вам докучать, отдыхайте. Мне тоже не сразу на поезд, два часа чем-то занять себя в Москве придется. Да, Вы уже спите!

Ворон засунул свой горбатый нос под крыло, поджал лапки и уснул в уголочке за занавеской вагонного окна. Трифон Михеевич аккуратно развязал галстук, повесил его на вешалку поверх брюк, а сверху, расправляя плечики, устроил пиджак. Разоблачившись, он долго еще лежал, слушая перестук железа под вагоном. Он не гнал от себя Мнемозину, она просто не решалась далее его беспокоить. Ночь. Человеку обязательно надо поспать, впереди новый день, и никто не знает, насколько он будет удачен, как- то Бог его управит.

Трифон Михеевич, молодой и знаменитый на всю Советскую страну композитор, в светлом костюме от кремлевского портного, в мягкой бежевой шляпе на удлиненной, слегка выющейся шевелюре, в блестящих, на заказ сшитых кожаных туфлях в мелкую дырочку, првел утомительную ночь в жестком вагоне. Билетов на лучшие места не было, а





он хотя и торопился, но не стал пользоваться мандатом, выданным ему лично в подобных случаях.

Он стучал в дверь квартиры брата, но ему никто не открывал. Гребенников сразу заметил, что квартира не опечатана, значит, дома должна быть матушка. Он продолжал стучать теперь уже кулаком в дверь. Наконец, услышал издали шаркающие шаги, вот они засеменяли по коридору, все приближаясь и приближаясь.

– Кто там? – раздался треснутый голос матери.

– Мама, открой, это Триша.

Слышно, как повернулся ключ, потом снялась позванивая дробно, цепочка и грохнула об пол какая-то железяка, и только затем Трифон Михеевич сумел открыть дверь. Перед ним стояла маленькая сгорбившаяся старушка с белой трясущейся головой, и только кружевная шерстяная кремовая шаль, обнявшая почти детские плечи, выдавала в ней княгиню.

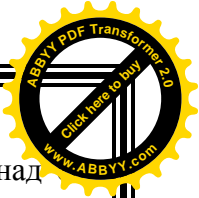
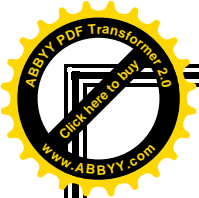
– Мама! – протянул он к ней руки, а она уже пошла по коридору, трудно переставляя ноги, и кисти шали тащились за ней по полу. Трифон Михеевич повесил шляпу. Увидев мать, он окончательно уверился, что случилась беда в их доме. Та самая беда, которая теперь имела обыкновение вламываться в жилища людей, подминая под себя обычное человеческое счастье. Он вошел в зал. Мать, которая будто не замечая развороченного и разоренного своего гнезда, стояла на коленях и с усердием молилась перед прапрадедовскими иконами. Эти древние святыни переходили от отца к сыну, от матери к дочери...

– Боже милостивый, прости ты меня окаянную, не за себя молю и даже не за своего сына. Он мужчина, да к тому же князь, выдюжит, не струсит, не унижится. Прошу за Верочку, за мою невестку любимую, за женскую ее честь. Боже, как я перед ней виновата! За всякий пустяк ее обижала, за скатерку не до бела выбеленную, за воду, не сменянную в цветах, за не до блеска натертую тарелку, а она, моя терпеливица, ведь ни разу не осердилась, не огрызнулась, меня ничем не обидела и своей обиды мне не показала. А теперь она муку принимает не за себя, ведь она из простых, а за нас, за наш род. Не оставь ее, Господи, своей щедростью, защити, спаси, помилуй!

Трифон Михеевич сел за стол и молча смотрел, как мать распласталась на полу и на ней светлыми крыльями лежала по бокам из вологодского кружева шаль, а белая маленькая дрожащая головка впереди, лишь усиливала видение подбитой птицы. Мать начала подниматься, и он бросился к ней помочь, поддержал ее под сухие локотки, усадил ее за стол и сам сел рядом. Он не торопил ее с рассказом, ни о чем не спрашивал, а подвинул к себе синюю тяжелую, богемского стекла пепельницу и медленно стал разминать папиросу. Даже в беде дом давал возможность ощутить внутри ту драгоценную жемчужину глубокого покоя, которая есть у каждого, кто после долгой разлуки возвращается к родным стенам. Шторы были задернуты, и непривычно сумрак, после уличного света, заполнил комнату.

Мать положила руки на скатерть, и двигала, двигала ими по направлению часовой стрелки, вправо и по кругу, монотонно и размеренно.

– Это не моих детей надо было забирать, а меня, меня! Ведь это я не умею салютовать твоим вождям, хожу в церковь, а не на собрания, читаю книги по-французски и не уродую русский язык, запоминая тарабарщину учреждений Советов. Они ведь даже не за Яном пришли, а за Верочкой, ночью, будто тати, а Ян не давал ее им, защищал так, как защищали князья жен, своей грудью. Их увели вместе, а я от горя лишилась тогда языка, а теперь вот трясусь, как осина на буераке, но не боюсь, нет, не боюсь! Моя



прапрабабка с крепостной стены сбросилась, когда вороги князя стубили, дабы над честью не поглумились. Я в нее выдалась и лицом, и нравом.

– Матушка, я приехал и все недоразумения разрешу. Если хочешь, сейчас же пойду в прокуратуру.

– Неужели ты в это веришь? Уже вполне дошло до того, как сказано у пророка Исаии, что лучших отберет Господь, храброго воина, и честного судью, и прозорливца и пророка, и художников, и творцов слова, а посадит управлять юнцов над мудрыми, детей над отцами, женщин над мужчинами. Последнее уже стало первым, а остальному свой черед, ибо брат с братом уже прошел бранную битву, и господином стал раб, а он вряд ли пощадит детей княжеских или лучших перед ним.

– Значит, на этом свете не мы первые, когда-то видно было подобное? В пророчестве Исаии все, что ты перечла, было наказаньем Бога за долгие страдания бедного люда и вдов. На земле все хотят быть счастливыми. И, может быть, Господь нам доверил пронести такой тяжкий крест, полагаясь на выдержку и крепкие корни своего народа?

– Это так, но вот, что я поняла за долгую жизнь... Невозможно счастье строить на несчастьи других, и никто не сможет осчастливить другого, тем более силой, счастливым надо просто родиться. И еще, наш род тем и знатен, что за счастье свое не держались и умели от него отказаться ради России. Твой брат Ян и Вера сейчас терпят муку на Голгофе, для многих эта дорога в наше лихолетье открыта, для многих.

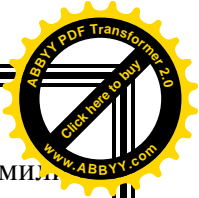
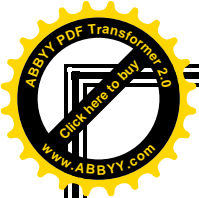
– Мама, я приехал помочь своему брату, и сделаю все, что зависящее от меня, чтобы Ян и Вера были свободны. Расскажи лучше мне, в чем обвиняют Веру?

– Хорошо. Однако, прежде скажи мне, кто я в твоей «биографии», так ведь теперь называют сведения о себе? Надеюсь, ты не пишешь, что я поломойка?

– Нет, не пишу. Я указываю, что я дворянского сословия, без титулов.

– Прости меня, Гриша, я сварливая, привередливая и слишком гордая старуха. Как мать, я должна быть не против, чтобы ты или Ян, ради Вашего охранения, писались детьми безродными, хоть горшком назовись, только бы в печь не ставили, особенно детей! Однако, мой сын, я на такое не имею права!!! А Веру взяли без вины, потому что какой-то мальчишка на ее уроке выкрикивал разные афоризмы по-немецки. Обычное мальчишеское озорство, в худшем случае – хулиганство, и Вера никому об этом не доложила, не наклеузничала, сама разобралась с парнишкой, даже порадовалась, что ее предмет, то есть немецкий язык, знает на отлично, но не тут-то было! Его дружок сходил в НКВД и представил это как антисоветские лозунги на уроке немецкого с поощрения учительницы, жены бывшего белогвардейца. Мальчик арестован тоже. Был у нас обыск, но доказательств организации или шайки против власти не нашли, дом перевернули вверх тормашками и два дня назад увели ночью детей – Яна и Веру. А я даже плакать не могу, только молюсь беспрестанно Богу. И вот ты здесь, а я тебя не вызывала... Я рада тебе, правда, очень рада, сын мой! – Трифон Михеевич взял руки матери в свои и нежно прижался к ним проклюнувшейся за ночь щетинкой, а потом зарылся в ее ладони лицом, и долго, долго не отпускал.

Трифон Михеевич Гребенников шел по длинному, выкрашенному плотной серой краской коридору, по сторонам которого чернели почти во всю высоту металлические двери с табличками, где типографским шрифтом была выведена фамилии владельцев этой двери. В промежутках на скамьях сидели люди. Он шел к следователю, который один мог ответить на все его вопросы касательно Ивана и Веры, и это к нему Гребенникова отправили в прокуратуру. Оказалось, что кроме следователя подробности никому не известны. Трое суток Трифон Михеевич толкался по разным кабинетам, прежде чем



отыскал слабый конец ниточки необходимых ему известий о родных. Он читал фамилии на табличках, мало замечая окружение, хотя ему указали, что кабинет следователя по правой стороне и третий от дальнего торца коридора. Вот и нужная фамилия: «Смирнов К. К.». Трифон Михеевич обернулся на сидящих около двери людей и сразу же увидел Ксению Львовну, которая смотрела на него пристально и трагично. Он приподнял шляпу и поклонился ей. А затем направился за поднявшейся со своего места Ксенией Львовной. Она пошла прямо вглубь коридорного торца, как бы приглашая его за собой. И опять он заметил, двигаясь за ней следом, кособокость ее правого каблучка.

– Ксения Львовна, зачем Вы здесь? Что Вы тут делаете? – спросил он, чувствуя несуразность присутствия ее в этом месте, а более страшась того, что эти мышинового цвета стены, с их железными уключинами на грубо вырубленных петлях массивных дверей, могут раздавить ее или, того хуже, поглотить, как поглотили они Яна и Веру.

– Здравствуйте, Трифон Михеевич!

– Здравствуйте, Ксения Львовна! Уходите отсюда, уходите, я прошу вас, – заговорил он шепотом.

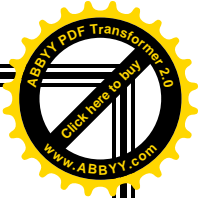
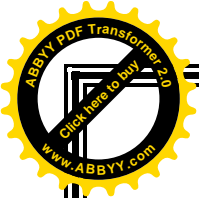
– Я не могу этого сделать при всем вашем и моем желании. Дело в том, что все эти люди у кабинета – учителя нашей школы и вызваны повестками, почти все на одно и то же время, чтобы стать свидетелями в защиту или против Веры Семеновны, и я среди них. Мы уже сидим более двух часов, но следователь занят своими делами, изредка кого-либо вызывает, а остальные томятся и молчат друг перед другом.

– Не думал я с Вами встретиться здесь. Однако, может быть, вы сможете мне пояснить, что же все-таки произошло?

– Да, конечно. Эта история двух друзей с детства. Они учатся в 9 классе, вернее учились, оба вышли из одной деревни, и в городе они жили на одной квартире, сидели за одной партой и были неразлучны, как близнецы. Один из них, Толя, одаренный юноша и очень способный к наукам, а другой, Федор, отличается поразительной тупизной и тугодумием. Толя с седьмого класса тянул за собой Федора. Все замечали, как он давал списывать на контрольных уроках, а то порой и решал за него, если у них были разные варианты. Занимался с ним, если тот совсем отставал, и так кое-как перетягивал его из класса в класс. Что между ними произошло, никто не знает, но в последний раз Толя не смог или не успел решить за него, а может быть, не захотел ему помочь, но факт остается фактом: Федор получил двойку, да в присутствии представителя РОНО. А тут на уроке немецкого, у Веры, Анатолий расшалился, отвечал много и порой не в тему выкрикивал, юноша он был не из тихих, а Федор после немецкого ушел с уроков. Дома, он разыскал дневник, который писал по вечерам Анатолий и отнес его в НКВД, а от себя составил донос, где также обвинил и Веру, которая упорно ставила ему «плохо» за беспросветную глупость. Маленькая тетрадь, а она и сыграла ту роковую роль в судьбах ваших родных и моих друзей. Мальчик писал о том, что ему казалось неестественным в нашей действительности и особенно в родной деревне, и задавался вопросами: «Что такое трудодни, за которые ничего не дают? Почему в Германию отправляют хлеб и уголь, а деревня голодает? Почему законы конституции – лишь красивые слова?» Его взяли в тот же вечер, а после и Веру с мужем, а мы стали теперь свидетелями.

– Воочию жив Сальери! Низменная зависть и пороки низких все так же преступны и коварны. Я знаю, как трудно не лгать себе самому, а этот юноша учился этому.

– Вы это хорошо сказали – не лгать себе. Что истина? Что правда? Что есть ложь? А что к безумству отнесешь? Нам тоже в этом для себя не мешает разобраться, иначе мы никому не сможем помочь. Мне пора. В любой момент меня могут вызвать к следователю, а вы, я так понимаю, прибыли выручить Ивана Михеевича и Веру?



– Вы, как и моя матушка, не верите, что это возможно?

– Трифон Михеевич, добейтесь, хотя бы открытого суда, тогда станет ясно, что дело выеденного яйца не стоит, и помогите обеспечить им хорошую защиту. В данном случае это уже будет не мало, а на большее вряд и можно рассчитывать.

– У меня большие связи.

– Знаю, оттого и берегитесь щедрых даров данайцев. И не смотрите на меня так, это не хорошо.

Ксения Львовна пошла обратно, а Трифон Михеевич прислонился к холодной стене спиной, и до него стало доходить, что брат с невесткой погибают, как выброшенные в открытое море в жестокую бурю плохие пловцы на обломках разбитого корабля, а он от них пока в стороне, на берегу, но оказался еще дальше от той, которая непонятным образом стала безгранично дорогой и до боли осязаемой – не притрагиваясь, задевала и обдавала мучительной радостью, заставляла все прожилочки, жгуты и узлы его храмины переполняться звуками, от которых заливался солнечным сиянием нотный бумажный лист. Надо остановиться, пока не порвался конский волос на смычке скрипки от водопада музыки и не лопнули от натяжения вибрирующие плазменные меридианы его сердца.

Трифон Михеевич войдя в кабинет Смирнова К.К., увидел того человека, который был той незаменимой застежкой в железной сцепке вершителей судеб. Небольшого роста, кубастенький, с симпатичным округлым лицом, на котором мелковатым казался нос, он сидел за столом, не подходивший ему по размеру, – будто ребенок на неразвитую ногу одел отцовский сапог, таким большим и тяжелым был этот стол. Да и ему, человеку, стол казался твердыней, позволяющей чувствовать свое превосходство над остальными, присевшими на стуле, сбоку от него. Человек был повернут в сторону вошедшего Трифона Михеевича, но взгляд его блуждал по сторонам и не сосредотачивался на посетителе.

Трифон Михеевич с его позволения сел и представился:

– Гребенников, родной брат Гребенникова Ивана Михеевича, арестованного два дня назад вместе с женой.

– На ловца и зверь бежит! Очень хорошо, шо вы явились сами, не пришлось за вами бойцов посылать, у нас тут и без вас запарка, волонтеров не хватает на всех бывших!

– О чем Вы, сударь?

– Какой я вам сударь, вы эти замашки барские бросьте! Я для вас гражданин следователь, советский гражданин. А я о том, что скажи, кто твой брат, а я скажу, кто ты!

– Это вы верно заметили, гражданин Смирнов, что по брату можно и о другом брате говорить. Вот мой документ, удосужьтесь, любезный, его прочесть, – и Трифон Михеевич положил перед ним мандат, подписанный лично Главным правителем державы, где указывалась на неприкосновенность его личности и содержалось требование оказания содействия во всех инстанциях.

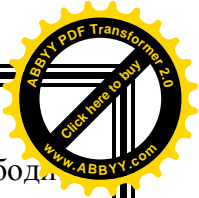
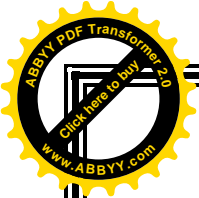
Следователь подслеповато долго разбирал написанное, а потом встал, и стол чуть приспустил свою перекладину от его груди, после чего Смирнов К.К., стоя во фронт и, глядя на Трифона Михеевича из глубоких глазных впадин, отчеканил:

– Прошу прощения, готов слушать вас и могу оказать содействие.

– Сядьте, прошу Вас, сядьте! Объясните мне, во –первых, за что арестованы мои родные, во-вторых законность обыска и ареста, а в-третьих условия их освобождения.

– Освободить не могу, дело есть, заведено против них, как против контры Советской власти, враги народа они!

– Это еще надо доказать. Если Вы в нарушение закона их арестовали, то вы за это ответите, а причин для их заключения у вас нет и не было. Фискальная записка школьника



не есть основание и доказательство вины, поэтому я требую незамедлительно освободить Ивана Михеевича Гребенникова и его жену Веру Семеновну!

– Какой вы, однако, приткий! Никак нет! Не имею права! А Вера Семеновна уже признание-то подписала, так что отпустить нельзя, не положено.

Последние слова хлестнули Трифона Михеевича, и он понял, с Верой что-то сделали, если она подписала на себя клевету. Дрогнув внутри, но удерживая ровный тембр голоса, спросил:

– Она жива?

– Не беспокойтесь, что мы – душегубы что ли? Конечно, жива, все живы.

– Вот, что я вам скажу, любезный, если хоть волос с их головы упадет, то вы за это ответите. На днях сюда приедут из Москвы юристы, вот им все и доложите.

– Совсем вы меня застращали, гражданин Гребенников, а я ведь при исполнении. Делаю, что велят. У нас тут в городишке белых офицеров, кроме вашего брата, почитай боле нету, а кругом по стране раскручивают громаднейшие дела, вот начальству тоже потребовалось громкое дело, а потому никто не выпустит вашего брата. Так что не меня-то пугать надо документиком и юристами, не меня. Я готов вам услужить, раз бумагой велено, да ведь и сам завтра с Вашим братцем окажусь в каталажке. А дело-то ясное: мы ведь для ас и вашего братца, как были быдло, так и до сих пор остались, но вершки-то нынче наши, не репу тянем, а подсолнухам головки скручиваем. И чевой-то там наверху с вами чикаются, моя бы воля, я бы вас отсюда не выпустил.

– Ручонки коротки!

– Как знать, как знать...

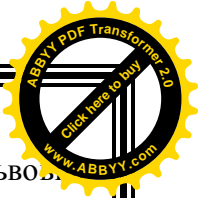
Более полугода Трифон Михеевич странствовал курьером по железной дороге в Москву и обратно к матушке, добиваясь в столичных канцелярских коридорах судопроизводства истинного правосудия. Постепенно уяснил, что там не признавали богиню с завязанными глазами и с точной мерой правды в справедливых руках. Чашу ее весов перегружали жертвы, а для равновесия тщеславные ревнители власти давили на другую с силой большим пальцем, пользуясь слепотой Фемиды.

Лучший московский адвокат, Розенберг Самуил Моисеевич, согласился защищать брата Трифона Михеевича, негласно получив на это разрешение свыше. Он моментально добился устранения следователя Смирнова К.К., обвинив его в предвзятости и непрофессионализме. На конец марта был назначен открытый суд. В зале суда адвокат Розенберг, похожий на черепаху, – из-за его морщинистой шеи, соединяющейся с коротким подбородком чуть ли не под губой – заметил, как неотрывно Трифон Михеевич смотрел на женщину, которая свою большую беременность прикрывала черным панбархатным платьем с белым, как полумесяц воротником. Таким же черным бархатом, как платье, отливали у нее коротко стриженные волосы. Ксения Львовна была на восьмом месяце беременности, но на суд пришла, чтобы ответить, как главный свидетель, хотя ее многие отговаривали от этого.

– Кто эта женщина? – спросил адвокат. Трифон Михеевич назвал ее. – Представьте меня ей, потому что я собираюсь в защите воспользоваться свидетельством Ксении Львовны, которая одна из немногих, в ходе следствия не меняла и не путала свои первоначальные показания. Из них ясно видна полная лояльность и уважение Веры Семеновны к властям и, тем более, отсутствие какой-либо организации, а больше просматривается бытовая сторона происшедшего. Свидетельница почти перед родами, и в зале суда ей лучше не присутствовать. Я ее вызову потом.

Ксения Львовна выступала на суде и держалась бесстрашно, хотя страшится ей было чего. Накануне ее вновь на допрос вызывал следователь, и под конец, когда она в который





раз повторила сказанное ранее, ввели Веру Семеновну, для очной ставки. Ксения Львовна содрогнулась, когда вместо красивой, молодой и счастливой женщины увидела белую, как лунь, беззубую старуха.

– Подписывайте, Ксения, все, что вам скажут. У вас будет ребенок, не надо губить еще не начатую жизнь. Я вас умоляю, не жалейте меня, подписывайте, думайте о своем будущем, а со мной все кончено.

Ксения Львовна подписала протокол, но по счастью или случайности, новый следователь не искажил ее ответы. Ксения Львовна на суде попыталась оправдать и своего ученика, объявив его по таланту чуть ли не вторым Ломоносовым и упирая, что молодым свойственно ошибаться и у них есть время для перемен. Судья оправдал Веру Семеновну и Ивана Михеевича, но пятнадцатилетнего школьника приговорил к расстрелу по достижении им шестнадцати лет. После суда Трифон Михеевич подошел к Ксении Львовне, которая терпеливо ожидала решения суда за дверями зала и сидела не одна, а с молодым мужчиной, который показался Гребенникову даже красивым.

– Спасибо Вам, Ксения Львовна за помощь, если бы вы сегодня не пришли, вас бы никто ни в чем не укорил, отсутствовать у вас есть веская причина.

– Познакомьтесь, Трифон Михеевич, это мой муж – Александр Евгеньевич. Я не могла бы жить спокойно, если бы поступила иначе, так что благодарить меня не за что. Вы очень много сделали для своего брата и Верочки, почти невозможное, но Толю... Почему спасти не удалось Толю, ведь он не преступник, не вор и не убийца и так еще молод, и ко всему добавлю: он очень талантливый юноша!

– У него был сильный обвинитель, непримиримый борец за идею – его друг. Он не пощадил своего товарища, утопил его до конца и сделать было ничего нельзя, иначе и защита могла быть обвинена в предательстве интересов пролетариата, – ответил на ее возглас адвокат Розенберг.

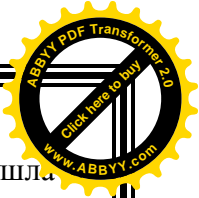
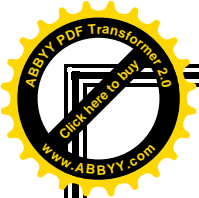
– Как скверно! Трудно будет пережить такой беспощадный приговор школьнику. Будьте мужественны и вы, Трифон Михеевич, когда увидите Ивана и Веру близко, – подняла на него печальные глаза Ксения Львовна.

– Я был рад познакомиться с Вашим мужем, и еще раз – огромное спасибо. Мальчика, конечно жаль, но, моя матушка так сказала: они убирают всякого в ком может зародиться иная мысль. Первыми станут чужие по роду и племени, но и своего тоже не пощадят, если у него возникнут сомнения. Мне пора идти встречать моего дорогого Яна и Верочку. Прощайте!

– Прощайте! – и только Александр Евгеньевич вслед Гребенникову сказал: «До свидания».

Мимо из дверей судебного зала на носилках пронесли женщину в черном платке, лежавшую с синюшным окаменевшим лицом, у которой поднимались торчком блестящие носы резиновых новых ботинок с плюшевыми отворотами на тощих ногах в копеечных чулках. Ксения Львовна узнала родительницу своего ученика, теперь уже осужденного, и крепче прижала к себе руку мужа, который заслонил от нее потерявшую память мать.

Трифон Михеевич через короткое время получил разрешение переехать в Ленинград, так как в верхах им уже не интересовались, списав из блистательных дворцов по причине привязанности к роду более, чем к высоким помыслам о грядущем благе для народа. Он увез в родной город всю семью, но жизненные силы и Яна, и Веры, и матушки были высосаны основательно. Прежняя жизнь осталась позади счастливой сказкой, у которой оказался страшный конец, а подладиться под всех, бегущих за слепыми от своей непогрешимости поводырями, они могли в одном случае – если бы лишились разума.



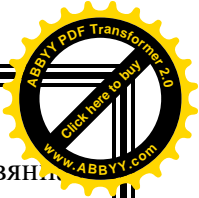
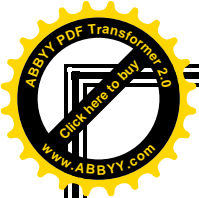
Первой умерла Вера. Ян пережил ее ровно на три месяца день в день, а вслед ушла мать, не выдержав горя от их потери, потому что на земле нет укуса злее, чем матери пережить своих детей. На долгие годы замолчала музыка Гребенникова для общества. Он утерял всякие сношения с Ксенией Львовной, потому как даже слухи о ней окончательно пропали. Он женился на девушке, которая приехала из села и училась в Герценовском пединституте, дополнил свое счастье двумя детьми и жил скромно, работая преподавателем в консерватории.

Однажды, в начале июня, когда в Ленинграде зачастили дожди, в профкоме ему предложили путевку в Кисловодск, чтобы подлечить уставшее от болей сердце, которое выдержало бескормицу блокадного Ленинграда, но по прошествии десяти лет все чаще билось невпопад. Он еще не знал, что там для него уготовлена встреча.

Больной и хмурый он прилетел в Сочи и был потрясен новизной панорамы: пальмы, платаны и гора, с пелериной из молочных облаков. Он пожалел, что ему надо было ехать дальше, – стоял и безотрывно смотрел, стоял и смотрел на гору, полагая, что это и есть лучшее место на юге.

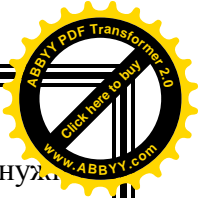
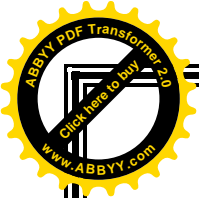
В Кисловодске его излюбленным занятием стало одинокие подъемы в горы, правда, по терренкуру, но с каждым днем он уходил все выше и выше, переставая замечать область, где распложено сердце, и раз от разу дышать становилось все легче и легче. С высоты он смотрел на долину, в которой дома, застрявшие игрушечными цветными кубиками, проглядывали через заросли малахитовых садов то вблизи, а то подальше, и не было внизу горизонта. Он зависал над откосом, рядом с погнутой березой, на ветвях которой были привязаны пестрые тряпочки и ленточки, из-за чего она казалось неизвестным, чудным деревом. Так люди, веря в приметы, оставляли свои знаки – в надежде еще раз сюда вернуться. Он не привязал к березе лоскутка, но любовался в долине плантацией из нежно-палевых роз, которая манила его спуститься вниз разливами утренней зари, дабы он смог услышать вблизи усладу ее ароматов. Над простором, гораздо выше уступа, кружил царственный халзан, чеканными и упругими крылами врезаясь и дробя фотоны солнечного ливня. Он держал в своих лапах пространство, и демонстрировал абсолютное отсутствие нужды в ком-либо. Ему было чуждо участие к другим, и он ни в коей мере не допускал заботливого внимания к себе. Его одиночество принадлежало только небу, ведь даже горы не могли двинуться за ним вслед! Трифон Михеевич позавидовал орлу, не знающему той силы страдания, которую несет в себе человек. У орла отсутствовал вибратор, способный откликаться на чужую боль и заставляющий забывать о своей. В нем не было тех клеток, умеющих загореться гиперболическим огнем совести, почувствовать вину за все и за всех. И ему не дано познать, сладостную боль из-за любви к женщине, которая никогда не будет твоею. Далекий, неподвижный, закованный в броню безжалостной отваги, он был свободен от мучительного желания пронзить собою небо, чтобы найти Бога, могущего объяснить – зачем мы такие?

Гребенникову оставалась последняя неделя отдыха. Он отправился посмотреть санаторный шахматный турнир, что проходил в конференц-зале, где мужские умы разрешали головоломки шахматных баталий. Он умел играть в шахматы, но его слабостью они не стали, может быть, потому, что для размышлений над ними нужно достаточно много времени, а его жизнь была заполнена уроками с талантливыми молодыми людьми, да суетой дополнительных занятий с любителями – подработка для семьи. Короткий же досуг он отдавал сочинениям музыки. Свои творения он складывал в маленький старинный материнский сундучок, узорно обитый золотыми литыми гвоздиками. Он научился молчать...



Шла финальная встреча: на столе была разложена выдавшая виды деревянная шахматная доска, и партнеры устанавливали рассыпавшиеся фигурки. Белыми играл высокий молодой человек, а черного слона ставил на отметину доски мужчина, которого Трифон Михеевич узнал сразу, – наверное, потому, что все связанное, с воспоминаниями о первой любви, сохранилось ярким и четким всполохом. Он остался среди болельщиков и без помех наблюдал за тем человеком, которого выбрала она и которому она так боялась причинить обиду его любовью. Мужчина был в превосходном настроении, его серые крупные с небольшой выпуклостью глаза вспыхивали то искорками радости, то насмешки, губы часто после удачного хода растягивались в улыбку. Его нос был в меру ровный, со впадиной у переносицы, над которой залегли две одинаково глубокие морщинки. Гребенникову понравился его лоб – высокий и выпукло-шишковатый, с маленькой ямкой над правой бровью, – где неглубокими заводями над холмом размылись залысины. Мужчина задумался над очередным ходом и, не мигая, смотрел на расставленные фигуры, вдавливая локоть в стол и подпирая одну лобную часть полураскрытой чашей руки, как бы заграбастав сгусток просчетов в ладонь, где сменялись один за другим варианты боевых операций: вот падают жертвенно пешки-солдаты, защищая офицера, а тот стоит намертво, усиливая крепость туры, и спешит, толкая на смертельную опасность армию королева, демонстрируя перед низшими колоссальные возможности своей власти, и топчется зависимый от всех король, с гибелью которого сложит корону и королева. Он отдал пешку, двинув ее e4-e5, и белые вынуждены были ее взять, иначе черные кони вихрем ворвутся в лагерь противника! Затем еще одна жертва пешки и атакой ферзя g6-e4 с поддержкой ладьи, он захватил линии b и f! Все главное сделано, и он встал из-за стола, не спеша отошел в сторону, достал пачку папирос из белых летних брюк и закурил, закутываясь в дым, через сито которого виднелась та же рука, отстраненная от лица с зажатой в пальцах папиросой. Белые через несколько ходов сдались. Мужа Ксении Львовны, как победителя турнира наградили книгой «Белое и черное», об Алехине, о русском шахматном короле, и благодарно раскланиваясь за подарок, он листал и перелистывал эту книгу, рассматривая внимательно портрет уникального шахматиста. Незаметно на столе вместо шахмат выстроились две темной зелени бутылки грузинского вина «Хванчакара», а вокруг них – граненные стаканы, и в блюдечках мелкой монеткой заблестел изюм с желтыми дольками грецких чищенных орехов, да рыжими, шершавыми, пятнистыми шкурками на блюде возвышались зрелые абрикосы. Чтобы никого не обидеть, темно красное вино разлили по стаканам на четверть; и председатель турнира поздравил всех участников, и особо много и долго говорил о таланте победителя.

Трифон Михеевич подошел к Александру Евгеньевичу - это имя сегодня часто произносилось – и представился ему: «Здравствуйте, вы меня не узнаете? Гребенников Трифон Михеевич. Мы с Вами встречались, но очень давно». Александр Евгеньевич, заражая Гребенникова своим весельем, протянул ему стакан с вином и сказал: «Узнаю ли? Разве это имеет значение? Я знаю вас и помню, и рад, очень рад встрече. Давайте выпьем за то, что мы живы и жить все-таки хорошо!» Трифон Михеевич улыбнулся невзначай, и ощутил, как ему легко и свободно с этим человеком, доброе расположение духа которого проникло в него. Он взял стакан. Вино было настоящее, не жгло кислотой, и терпкой сладостью не заклеивало небо и гортань, что-то промежуточное улавливалось и исчезало, оставляя в дыхании тонкую ароматическую эмаль, со следующим глотком аромат становился насыщеннее, а вкус доставляя удовольствие языку, быстро исчезал, и требовался новый небольшой глоток, чтобы поймать растаявшее во рту питье. Трифон Михеевич и Александр Евгеньевич с этого дня проводили время вместе, будто старые



друзья, которые не по своей воле расстались, а затем встретились, и так много им нужно было рассказать друг другу, поделиться пройденным и пережитым. Трифон Михеевич дивился богатому содержанию мужа Ксении Львовны, его расположению к людям и веселому нраву, его умению слушать собеседника.

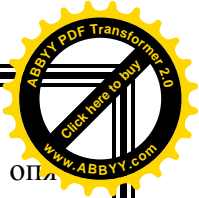
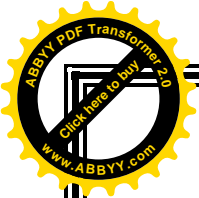
Была ли корысть у Трифона Михеевича? Он и сам не сумел бы ответить на этот вопрос, но одно то, что он смел надеяться увидеть Ксению Львовну, если примет приглашение Александра Евгеньевича, который ему был интересен и приятен, давало для такого вопроса повод. Он уже почти все знал о ее жизни, и представлял ее в ласковых объятиях - окруженную детьми. Пятеро детей в их семье, и жили они в небольшом районном городке на Черноземье, по рассказам Александра Евгеньевича дружно и счастливо. Он видел ее с Александром Евгеньевичем на фотокарточке времен войны, когда тот приезжал на побывку: только глаза он мог узнать в этой худой и изможденной, но по-прежнему любимой женщине, утомленные глаза антилопы да черный завиток волос, прилеглий на котиковый воротник пальто. Всю ночь он записывал музыку, и всю ночь пели ему скрипки и арфы, звала альт-труба и отбивал такт гобой, нотные листы ложились на пол и укладывались в бугорки листьями осеннего дерева, сбросившего листву за одну ночь...

Когда наступил день его рождения, он впервые сбежал из дома, оставив жене записку, чтобы не беспокоилась. Он поехал в чужую семью, пусть по приглашению ее мужа, а все-таки с затаенной боязнью: как-то встретит она его вторжение, его напоминание о себе? Он думал об этом, а не ехать не мог. Не мог он жить с ней на одной планете, на одной части света, и говорить постоянно себе: «Никогда! Никогда! Никогда я ее не увижу!» – будто они в разных веках. Это для него равноценно заживо быть погруженному во мрак, поэтому он ехал.

Гребенников вновь вернулся в среду признанных композиторов после показа своей последней музыкальной коллекции. Готовились его концерты в столичных филармониях, и лучшие симфонические оркестры участвовали в этой подготовке. Он жил в лихорадке сцены и выступлений и вот – сорвался, не сказав никому об отъезде, переложив все объяснения на плечи жены. Ехал, чтобы снова и снова зазвучало тончайшее до прозрачности серебро паутиных связей, в которых запутались голубыми сапфирами звезды, – и там же он, неловкий и неповоротливый, как слон, то и дело задевающий люрекс радиусов и сегментов, возносил к Плеядам мелодию мечты, которая от малого сочленения с явью становилась пронзительной и феерической.

Пятнадцать лет прошло с тех пор. Пятнадцать лет он входил в чужую квартиру ровно на один вечер, чтобы утром, переночевав в белой комнате гостиничного номера небольшого городишки, уныло возвращаться в колею привычных будней, правильного распорядка заведенных дел, в круг своих обязательств и забот. Он виделся с Ксенией Львовной всего несколько минут, потому что, когда он входил в дом, она отправлялась на весь вечер к подруге, оставляя его наедине со своим мужем или, вернее, мужа – с его приезжим другом, предварительно накрыв для них всегда праздничный стол. Глиняный сосуд «Хванчкара» был их союзником в беседе, когда один безоговорочно доверял другому, а другой очень хотел, чтобы это было так. Они оба ценили эти вечера, маленького мужского застолья, где можно было выговориться и поделиться сокровенным, взамен получая понимание, даже когда оно сопровождалось молчанием.

Трифон Михеевич так ни разу и не передал ветку сирени, которую он обязательно держал в своем саквояже, – специально привозимую издалека, после многих и долгих переговоров и хлопот. Он и сам уже не знал, едет ли повидаться с Ксенией Львовной или ему дороже назвать братом ее мужа, но одно было несомненно: после поездки он много и



плодотворно записывал, вставляя в шквал нахлынувших на него мелодий. И вот он опирается на перила и идет по городку от вокзала поздним промозглым вечером еще не наступившей весны, когда сугробы начинали уменьшаться и расти в землю, и их потерявшие вид шапки торчали, будто лесовички–старички, среди низких одноэтажных купеческих домов, а тротуары покрывались чавкающей, перемешанной с ледком снежной кашей. Подъезд, глухая темная лестница, и вот Трифон Михеевич жмет круглую, старенькую кнопку звонка на двери в пятнадцатый раз.

Ксения Львовна заканчивала нелегкий день последних двух трудных лет. Ее дом, ранее похожий на улей, в котором, как в медовых сотах, хватало места для своих и чужих детей и где все могли найти для себя заветные уголки для общих и уединенных занятий, теперь опустел. Вышли замуж дочери и разъехались по свету, сын был в армии, а год назад потеряла она свою опору – Александра Евгеньевича. Накануне его смерти видела она вещий сон: свекровь схватила мужа рубашку и потащила ее на гору якобы постирать, а она спешила следом и все умоляла: «Отдай, отдай, я сама!», – но все же старуха рубашку унесла...

Еще две ее девочки – студентки, и надо им помогать, потому теперь работает Ксения Львовна за двоих, выполняя волю мужа – всех детей доучить. Дом ее не только опустел, но и обеднел, книги на полках, этажерках и шкафах от долгого и частого употребления детьми порастрепались и порыжели, голубой когда-то бархат на кушетке повыцвел, обивка стульев повытерлась, и только ковер все держал в своих объятиях на темно-фиолетовом фоне ярких полуквадратных птиц. На белье она начала ставить латочки, круглые и аккуратно состыкованные с полотнищем, чтобы оно еще послужило, когда съедутся дети.

Однако так не бывает, чтобы жизнь состояла из одних печалей, – в другой комнате спит у нее отрада и утешение души, ее маленький внук, который спать порой не дает, хлопот добавляет, но что может сравниться с его улыбкой? С его нежной лаской, когда прильнет он всем тельцем, будто для защиты? Расцветает по весне яблонька тонковейными лепестками, но нежнее ее конфетти – маленький ребенок, прозрачнее и прелестнее - его дыхание.

Ксения Львовна проверила тетради, которые собрала в трех классах, и за домашнее задание выставила только отличные оценки, остальным проставляя «СМ», что значит – просмотрела. Она долго разбиралась с работами выпускного класса, легко замечая пробелы знаний или их отсутствие, с удовольствием отмечая, когда ребята справлялись со сложными примерами, с экзаменационными задачами. Она любила умников.

Когда она вышла из ванной, расчесывая свои коротко стриженные волосы, в которых седых полос уже было столько, сколько зубков на редкой расческе, раздался звонок в дверь. Она никого не ждала, но ни от кого не закрывалась, а потому распахнула дверь сразу.

– Вы?

– Добрый вечер, Ксения Львовна! Простите за позднее вторжение, но я приехал сегодня вечерним поездом и зашел, чтобы засвидетельствовать Вам и Александру Евгеньевичу свое почтение.

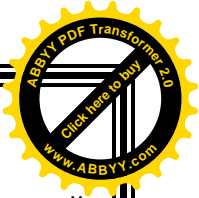
– Проходите.

– Нет, что вы! Я не хотел, чтобы вы так поздно уходили, если я тому причина.

– Проходите. А Александра Евгеньевича больше нет. У меня большое горе – муж ушел из жизни. Его сердце разорвалось.

– Примите мои глубочайшие соболезнования. Это горе и для меня.





– Я верю Вам. Раздевайтесь и проходите.

Он повесил свое английское пальто рядом с ее искусственной шубкой, на которой отличался новизной маленький воротничок из каракульчи. Воротнички на платьях, костюмах, которые она последнее время для себя шила сама, были ее слабостью, здесь она выкраивала денег – для покупки изумивших ее воротничков, – выбитых лепестками, вывязанных или обшитых шелковыми нитями, затейливо и искусно обрамленных шитьем, которые украшали ее небогатый гардероб. Ксения Львовна переложила со стола голубые стопочки тетрадей на этажерку, что стояла нагруженная книгами в углу, постелила серую изо льна скатерть, с косичками по углам, которые когда-то заплели из бахромы ее девчонки, да так и осталось, – видно было, что быт ее не обременял своими заботами. На стол она поставила две голубые с золотой росписью фарфоровые чашки на таких же объемных и блестящих блюдечках – остатки сервиза – и сказала: «Сейчас будем с вами пить чай, я как раз собиралась». Появилась такая же сахарница, блюдечко с печеньем, а через некоторое время Ксения Львовна вынесла заварной чайник, голубой, расписной золотыми блесками и с отбитым навзничь носиком. Она переделалась в черное платье с белыми горошинами, которые терялись от белизны манишки на груди и кружевных цветов на плечах.

Трифон Михеевич притих, боясь спугнуть неловким жестом или невпопад произнесенным словом нечаянное приглашение, и замечал какие-то неважные в ней детали: то пятнышко чернильное на искривленной косточке среднего пальца, то перламутровую пуговицу на манжете, то капельку воды от сырых волос медленно стекающую по виску. Ему хотелось стереть ее, но он никогда бы не посмел это сделать, да она и сама сняла ее тыльной стороной ладони. Трифон Михеевич сказал:

— Надо бы помянуть Александра Евгеньевича, у меня есть с собой вино, грузинское, «Хванчкара».

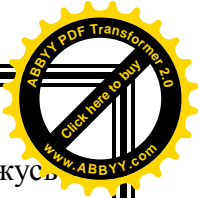
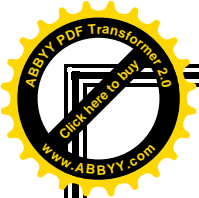
– Дорогой Трифон Михеевич я принимаю вас как друга моего мужа и вино для нас не уместно. Александр Евгеньевич любил выпить хорошего вина, да и покрепче не отказался бы, а я за жизнь так и не научилась. Последние годы мы жили материально очень трудно, просто вытянулись в нитку: сначала учились старшие девочки, вышли замуж, а затем поспели и младшие. У меня, как математика было достаточно часов, а он – историк, словесник от Бога, а не востребован был в полную силу, и приходилось ему по вечерам подрабатывать то в вечерней школе, то на подготовительных курсах, а в тот год Саша поздними вечерами ходил читать лекции на другой конец города, в тюрьму. Зима, на улице темень, а он уходил из дома, и я не умела ему запретить, оказалась не из тех женщин, что верховодят мужьями. Зимы у нас вьюжные и снежные, вот и ждала его подолгу у окна, а оно все залеплено, заморожено. Все переживала: «Как-то он один и в такой пурге?» В последнее время у него появилась одышка, а за месяц перед смертью я увидела – он вместо зимнего пальто в лютый мороз одевает плащ, правда, он габардиновый с теплой подкладкой, но явно в нем холодно. Я его спросила: «Зачем это, почему не пальто?», – на что Саша мне ответил: «Пальто тяжелое, я в нем не дойду». После этого мы решили, что он ляжет в больницу, а в больнице он через три дня умер. Вот такая печальная история.

– Вечная ему память. Я не встречал человека лучше, интереснее, да и благороднее.

– Последняя книга, которую он читал была «Дон Кихот», он таким и был, всем спешил помочь, а ему не редко платили черной неблагодарностью.

– Как же Вы одна выдерживаете?

– Выдерживаю как-то. Ради его памяти доучиваю девчонок, работаю на две ставки. Еля родила сына и оставила его мне пока сама защищает диплом, а он не дает тосковать.



Если бы она тогда не приехала ко мне, я бы отчаялась совершенно. А теперь вожусь малышом, помогает няня, да подруга моя заветная, но вот напасть завуч в нашей школе хуже зубной боли. Он и Александра Евгеньевича всегда клевал, а тут за меня взялся: только я в учительскую, а он мне: «Где Ваши планы?» или: «Я сегодня иду к Вам на урок», тетради у учеников соберет и смотрит, проверяю ли я их. Знает, как мне сейчас достается. Ведь мне иногда по ночам и выспаться не удается. Я столько лет признанный математик в школе, молодым помогаю, мои ученики в лучших столичных вузах учатся, а он мелочно и склочно ко мне придирается. Однако, сегодня я довольна. Я Вам расскажу, если еще не надоела.

– Что вы, что вы, я с удовольствием вас слушаю.

– Завуч у нас тощий и длинный, такой негибачаемый, его ребята дразнят «дрын». И у него такой же тощий и длинный, как сучок нос, его то он и сует всегда сначала в дверь, а потом, подглядывая, сам заходит. Есть в моем классе страшный проказник и прекрасный умница – мальчишка, и надо же совпасть его зовут Толей и учится в девятом классе, он-то сделав вид, что не заметил нос завуча, взял и захлопнул дверь, да! Да! Прищемил его нос дверью! Что тут началось, как верещал этот поганец: «Из школы вон! Исключаю из школы, сейчас, немедленно вещи собирай!» За мной прибежали ребята, я как увидела его нос, так и рассмеялась, – точно груша переспелая висит над губой, а он еще пуще обозлился: «Не смешно, это ваши детки, ваши! Я его исключаю из школы». Я ему ответила: «Не торопитесь, разберемся у директора!» – и директору все выложила и добавила, если бы не ученик придавил ему нос, то это сделала бы я. Потому что, если ему нужна моя помощь, а он тоже математик, пусть об этом скажет, но не ведет себя со мной как с нашкодившей ученицей. Толя, конечно, остался, только маму его я на завтра для порядка пригласила, но жаловаться не собираюсь. Я вообще на детей никогда не жалуясь. Вот так и живем.

Он слушал ее и вспомнил свой юбилейный вечер, свою шикарную квартиру, разряженных дочерей и жену и подумал: «Ведь со мной ее ждала совершенно иная жизнь!»

– Трифон Михеевич, я смотрела по телевизору ваш юбилейный вечер, – продолжила она – я вас поздравляю! Музыка ваша завораживающая и увлекательная, почти неземная... А со мной? Я бы нарожала Вам кучу детей, и вы везли бы этот воз!

Он пил из красивейшей чашки на свете, вкуснейший чай, какой он не пивал за всю свою жизнь, и с самой любимой женщиной на земле. Он блаженствовал и боялся, что, заметив это, она выставит его за дверь. И все-таки он рискнул и сказал:

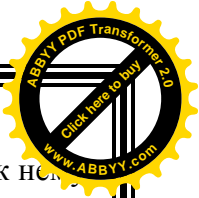
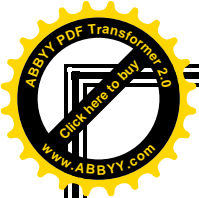
– Более всего я жалею, что не могу пить чай каждый вечер из чайника с отбитым носиком и что не дано одиноко уходить в пургу, согреваясь вашей тревогой у замороженного окна.

Заплакал ребенок за дверью, и она ушла к нему, а через короткое время вынесла его на руках. Синеглазый малыш обхватил ее обеими руками за шею, прижался щекой к ее лицу и внимательно всматривался в чужого. Трифон Михеевич вдруг догадался, что всегда влекло его к ней: перед ним была Мадонна, схожесть была невероятной, такие он видел в Питерских храмах, тот же оживленный над печалью взгляд антилопы. Он после стольких лет осознал, что он всегда хотел видеть ее со своим ребенком.

– Как его зовут?

– Александр, как и деда, так захотела Еля.

Пока Ксения Львовна укладывала малыша, Трифон Михеевич надел пальто, застегнул его на все пуговицы и ждал, чтобы распрощаться, потому что вряд ли он сюда еще раз вернется. Было чувство, что он и она едут в вагонах двух встречных поездов,



которые пройдут без остановок – рядом, близко, но обязательно мимо. Она вышла к ней, какая-то счастливая, волосы ее высохли и распушились, и ее улыбка одними кончиками губ, подчеркивала две тонкие дорожки от носа к подбородку.

– Прощайте, Трифон Михеевич!

– Прощайте! И, пожалуйста, разрешите поцеловать вам руку!

– Извольте!

Он прижал свои губы к чернильному пятнышку на среднем пальце и забоялся, что ноты снова в нем застопорятся, но вместо этого, услышал в себе тихую мелодию подземных ручьев, запела о любви арфа.

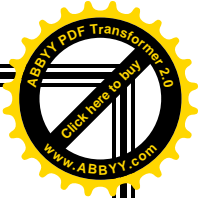
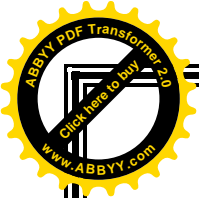
– Это лишнее, Трифон Михеевич. Я уже отвыкла от такого обращения. Спокойной вам ночи.

– Я не переменялся!

В белый гостиничный номер провинциального городишки в раскрытую форточку под утро залетел ворон с вертлявой черной головой над серой спиной. Не церемонясь, он двигался по столу и постукивал носом ветвь увядшей фиолетовой сирени, которая заполонила своими прощальными флюидами комнату. Он обошел нераспечатанный жженой глины, сосуд вина, и уставился косоглазо на ворох нотных исписанных листов. На верхнем листе прописью было написано: «ФИНАЛ», – где Трифон Михеевич, кувыркаясь в звездах Млечного пути, проваливался в них, как в половодье, то выбираясь на поверхность, то захлебываясь в глубинах, отстранял руками, несущиеся в едином потоке бланжевые слитки звезд. Он пытался вынырнуть и вернуться назад, но снова был подхвачен их движением туда – не знамо куда, за тем – не знамо за чем. Он желал ее и кричал ей, оставшейся далеко внизу на земле, женщине с ребенком: «Распахни горизонты! Раааспааахни гоаарииизонтыии!!!»

Ворон поводит носом по листам, взглянул на восковую руку Трифона Михеевича, свисающую с неразобранной кровати, взял в клюв его вечную ручку с золотым пером и на финальном листе поставил подпись: ГРАФ ВОРОНИН, закручивая конец подписи невероятными закорючками, схватил лист в клюв и вылетел в сумеречное окно.

Е.А. Гусева-Рыбникова



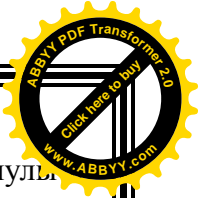
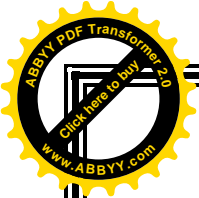
## ХВОСТ ДРАКОНА

Треснул под острыми клычками у Доры карандаш и раскололся до сердцевины, до графитного стержня. Давно забыта детская привычка их грызть, но вот сегодня в раздумье Дора, сидя за своим рабочим столом, раскусила не заточенный конец канцелярского карандаша. Она провела рукой по остриженной голове, на которой волос осталось ровно на толщину двух пальцев, сложенных вместе. А все по своей дурости. Натрещали подружки, эти несносные сороки, что хорошо волосы красить марганцовкой, и цвет их будет необыкновенный, такому цвету аналогов нет, ни в каком зарубежном журнале не сыщешь. Захотелось мужа удивить, и это вполне удалось. Развела целый пузырек марганцовки в тазу с горячей водой, да толком не размешала, потому что спешила и боялась, что Сергей не даст ей заниматься экспериментами, и пока он выносил на площадку мусор, сунула волосы с головой в таз. Марганцовка крошками зацепилась в волосах, и ее никакими оттуда клешнями не вытащишь, никакой удочкой не выудишь. Сергей пришел в ванну на ее завывания. Чертыхаясь, начал выколупывать марганцовку из головы, а потом вычесывать крошки своей тонкой расческой из густых и длинных ее волос. Волосы она, конечно, сожгла. Утром, перед работой, выстригала пожухлые и скользкие, как кукурузные рыльца, концы, отмеряя длину по двум прижатым пальцам. Теперь на голове умопомрачительная прическа из ярких, цвета темной марганцовки волос, которые на солнце отливают радугой, уж точно – аналогов в мире нет. Реакция мужа была потрясающей: «Вот куриные твои мозги, весь шик на полу валяется! Говорил тебе, не слушай подруг, они обязательно вред насоветуют, слушай только меня! Но ничего, подлецу все к лицу!» Однако, волосы это пустяк в сегодняшних ее переживаниях.

Вчера было пять лет со дня их свадьбы, вроде не ахти какая дата, а все-таки взяла обида, что Сережа не поздравил – не принес даже хилую веточку мимозы, подснежника маленького, или срез какогонибудь деревца. Когда родился сын, он один сумел зимой найти в их Северном городке, где невозможно достать никаких цветов, букет из цветущие неколючих кактусов, с рубиновыми колокольцами на верхушках, чем вознаградила ее за все мучения. Весна приходит с днем их свадьбы, а он вот забыл... А может быть, уже разлюбил? От этого вопроса Дора совсем расстроилась: «Без его любви разве можно на свете жить? Разве можно без любви быть вместе? Я просто скукожусь, засохну без его любви! Конечно, быт, как ржа, но крутые горки за эти пять лет одолели вместе. А такое дорогого стоит! Это как диффузия, когда молекулы золота проникают вовнутрь другого металла и образуется новый сплав».

Ее сотрудница по лаборатории, в которой Дора работала инженером, тридцати двухлетняя девушка Антонина, не была замужем, но в отношениях с мужчинами имела опыт. Она пережила и не умерла, когда ее возлюбленный, женился на другой – со столичной пропиской, а Тоне сообщил об этом при встрече в гостиничном номере. Его жена тогда уже была на седьмом месяце беременности.

Антонина выглядела эффектно, носила мини-юбки и не скрывала свои красивые ноги. А с некоторых пор ее пышные до спинных лопаток волосы стали вне конкуренции. Мужчины сразу же замечали ее, как женщину для парада, и не только увлекались ею, но и делали ей предложения. Однако одних она браковала, а к другим желала бы иметь не только чувственность, но и чувства, да орган, отвечающий за любовь, покрылся льдинкой и пока никто не мог оживить его. Потому, хотя Антонина и не была никогда одинока, надолго себя ни с кем не связывала. С Дорой у них были приятельские отношения.



«Дора, идешь на обед?» – «Конечно, конечно», – Дора стала убирать со стола формулы, диаграммы, подготовленные для начальства. Работа ей давалась легко, и отмечали ее не только премиями и зарплатой, но и сложностью поручаемых дел.

Антонина с Дорой спустились в рабочую столовую и встали в очередь на самообслуживание. Они сели за стол, только что вытертый официанткой, которая изредка появлялась в зале. Вот и сейчас очистила от посуды и крошек столы, оставив от тряпки разводы и запах. Тоня поморщилась: «Убрала, называется!» А потом обратилась к Доре:

– Ты чего такая сегодня?

– Муж вчера с пятилетием свадьбы не поздравил.

– Какая ерунда! Может быть, что-то больше?

– Боюсь, не разлюбил ли? Совсем меня перестал замечать. Газеты вечером пока все перечитает, телевизор посмотрит, чуть с сыном позанимается и спать. А я все где-то в стороне, то ли есть для него, то ли нет.

– Брось, вы такая пара, вам только завидовать можно. Конечно, Сергей красивый мужчина, но он всегда о тебе заботится, телефоны наши то и дело обрывает, а когда ты болела?.. Мы-то уж видели, как он в больницу по два раза на день бегал, переживал невозможно. Альку лучше матери смотрел, да и ты у него – как второй ребенок. Отчего ему не напомнила?

– Зачем? Пусть сам помнит, если ему я не безразлична!

– Ну, да, конечно... А ты-то ему подарок купила? Отчего сама не поздравила?

– Ой, у меня с подарком оплошность вышла! Решила ему шарф связать, а нитки в магазине только желтые продают. Походила, поискала, да и купила желтые, решила, что потом их перекрашу. Шарф сотами связала, красиво получилось, пышный такой, длинный и ровенький, просто загляденье, да только желтый, как цыплята в коробке. Уж лучше бы я его желтым и подарила! Стала я этот шарф перекрашивать, а по инструкции надо стоять и постоянно изделие перемешивать, а тут Сережка с Алькой взялись клеить воздушного змея, а без меня им никак невозможно! Мы придумывали узоры и размалевывали его, но не хватило яркой ленты на хвост, чтобы он стал великолепным драконом. Я с ними занялась, и позабыла, что шарф на кухне варится, а когда прибежала, то было поздно. Прокрасился он коричневыми пятнами и стал никуда не годен. Я уж его и так и сяк окунала в краску, все пустое, процесс закончился. Так и получилось, что подарок я свой испортила, а потом купила кожаную обложку для книг, но дарить ее первой неинтересно. Ждала, когда муж сюрприз преподнесет, да видно зря!

– Дора, измени ты ему! Я тебя с таким мужиком познакомлю, закачаешься!

– Ты с ума сошла! Я же его одного на свете люблю!

– Люблю, разлюблю, но так тоже смешно, на одного мужика всю жизнь молиться! Помяни мое слово, в дураках останешься, пожалеешь потом, когда никому уже нужна не будешь.

Вспомнила Дора, что муж говорил, чтоб подруг не слушала, тронула свои малиновые ежики на макушке и ответила:

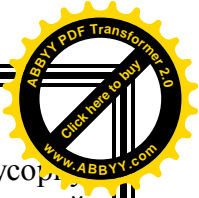
– Пожалее, так пожалее, я до той поры не доживу, но Сережку обманывать не стану. А как твой поклонник?

– Который? Ах, этот-то... Замуж зовет, а как скажет «кохана» в экстазе, так мороз по коже проберет. Разве я всю жизнь такое вынесу? Своего младшего научного сотрудника во сне вижу, ему бы я точно была, как и ты, верная женка, да он моей преданности не захотел!

– Тоня, ты такая красивая, неужели он еще лучше нашел?

– Лучше меня не бывает. Москвичка ему нужна была да квартира, а про любовь мне в открытках изголяется, а я их ...





Представила себе Дора, как Тоня гордо выбрасывает любовные открытки в мусор, или нет... разрывает их на маленькие клочки, а может быть, она их ленточкой розовой перевязывает и, плача прячет в потайное место? Посмотрела на подругу, а та уже улыбалась новому начальнику цеха, который расположился с подносом за соседним столом.

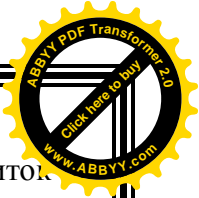
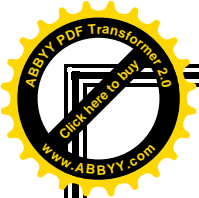
Вечером открыла дверцу шкафа Дора и увидела среди своего небогатого гардероба красное платье, которое сшила сама недавно, а куда его надевать ума не могла приложить. В платье поблескивали серебряные нити, как чешуйки у рыбки, и было оно слишком короткое, да еще с разрезами по бокам, расклешенные рукава доходили почти до края юбки. Вроде бы простое, но Дора в нем выглядела вызывающей, эффектной, сногшибательной. «Зачем я его сшила?!» – с тоской подумала она, припомнив сегодняшний разговор. Дора протянула руку к вешалке и достала платье. Оно висело, разгоревшимся пожаром, и, чуть-чуть помедлив, Дора решительно надела его. Зеркало ей не льстило. «Ужас какая вульгарная и какая порочная! Нет, носить на работу невозможно, в театр тоже не годится, только в какой-нибудь ресторан... Пошлое, жутко пошлое платье!». Дора смотрела на себя в зеркало и через мгновение прикусила губу, смешинки расплылись у нее в ямочках щек, этакие бесенята запрыгали в глазах.

Она стянула через себя платье, накинула халатик, а затем достала гладильную доску, прожженную в разных местах, протащила ее в комнату, которую они называли залом, потому что в ней стоял новенький телевизор «РЕКОРД», их единственное достояние. Дора установила доску на видное место, но, не удовлетворившись этим, принесла чашку с водой: если не увидят ее манипуляций, то уж во всяком случае услышат. Сергей увлеченно смотрел телевизор, шел сериал «ТАСС уполномочен заявить», где Буба Кикабидзе изображал жуткого шпиона, но он ничего не стоил против советского разведчика Юрия Соломина. Алька сидел за домашней школьной партой и лепил из пластилина солдатиков и одновременно спиной слушал про все, что смотрел отец.

Дора из спальни вынесла красное платье, но она не просто его несла – она держала его перед собой на вытянутой руке, как солдат, который якобы капитулирует, но до конца не сдается. Сережа даже ухом не повел, в телевизоре было все гораздо интереснее. Еще бы! Отравили Винтер! Дора положила платье на доску так, что рукава повисли с двух сторон красными дорожками, а остальная часть пылала факелом на доске. Набрала в рот воды, да как прыснет с шумом на платье. В поддержку рьяно зашипел утюг по мокрым брызгам, громко превращая воду в пар. Платье на глазах обновлялось и становилось еще наряднее, еще ярче, поддерживая затею хозяйки.

Сергей скосил глаза на жену и тут только заметил, что она куда-то собирается. Он не спросил сразу, а стал соображать, куда же в таком платье может отправиться Дора? Их никуда не приглашали, не было разговора и про билеты в театр, не предвиделось завтра праздника, неужели она в таком наряде пойдет на работу? А Дора старательно разглаживала и разглаживала платье, поворачивая его то одним боком, то другим, то рукавом левым, то рукавом правым. Готово! Дора повесила его на вешалку, затем подошла к стенному шкафу, в который был вставлен телевизор, приподнялась на цыпочках и приладила на коротенькую пупочку. Платье рдело на самом видном месте, не давая больше Сергею сосредоточиться на злоумышленнике Трианоне. Дора ушла в кухню, включила чайник, считая, что и эта попытка ей не удалась, все-то мужу по барабану! Придется вечер поскучать у телевизора!

Кухня в их квартире – размером меньше не придумаешь, всего 5 метров в квадрате. Не надо вставать из-за стола, чтобы достать чашки из буфета, чайник с плиты, а потом положить в раковину использованную посуду. Дора любила свежий крепкий чай, чтобы



чутьочку вязал во рту, вот и теперь она не спеша заваривала душистый напиток в маленьком никелированном чайнике. В дверях появился Сергей:

- А мне здесь чаю нальют?
- Кино кончилось?
- Нет, идет, но продолжение завтра следует.
- Готовлю чай, да вот напекла блинчики, сейчас вас угощу, будешь?
- Буду!

Муж сел на табуретку, взял блинчик, свернул его, откусил хороший гак, пожевал и заговорил:

- Куда это ты платье нагладила?

Дора замерла – игра началась. С видом скромной овечки она невзрачным голосом ответила:

- Понимаешь, меня сегодня пригласили в ресторан, у нашего нового начальника цеха юбилей, ему будет 35 лет. Он подошел ко мне в столовой и пригласил.

У Доры даже уши не покраснели от вранья, да она и не принимала этот номер всерьез.

- Кто из ваших еще идет, наверное, Антонина?
- Не знаю... – протянула она. – Наверное. Мы не успели переговорить.
- Так, может, он одну тебя пригласил? – что-то треснуло у него в голосе.
- Ну, что ты! Этого не может быть! Мы с ним еле знакомы, по работе встречаемся! Наверное, будут и другие!
- Так ты не знаешь – будет кто-либо еще?
- По правде, так не знаю!
- А тебе быть обязательно?
- Но ведь отказаться теперь неудобно, он же заранее места заказал. – Она уже верила сама во все, что говорила мужу и растекалась в голосе реченькой.

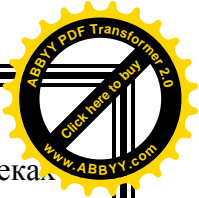
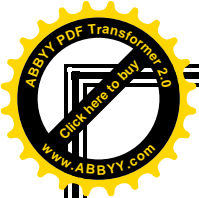
Сергей смотрел на стриженный малиновый затылок жены, и тревога исподтишка заползала в его сердце. «Так спокойно было в последнее время и на тебе, в красном платье собралась в ресторан одна. А что если этот начальник цеха в нее влюбился или, чего хуже хочет затащить ее в постель? Как ей, этой глупой жене сказать, что и до беды недалеко. Подумает – ревную! Как хочется закричать, чтобы сидела дома, готовила, стирала, а не вертела хвостом по ресторанам!» Дора расставляла чашки – остатки от свадебного сервиза, поставила сахарницу, а потом выставила стеклянную вазочку на тонкой длинной ножке с граненым шариком внизу, над подставкой. В вазе лежала клюква.

- Сереженька, вот протерла с сахаром к блинчикам клюкву, что ты собирал осенью. Она замерзла на балконе, и такая яркая, крупная, одна к одной. Этакое удовольствие с ней возиться!

– Я за ней по болоту ходил, руками ягоду собирал. Ребята комбайном, а я руками. Кочки рдеют от ягоды, а веточки, на которых они держаться, тонкие, плетутся паутиной. Ты тогда очень болела, и врачи сказали, что тебе нужна клюква.

- Да, я знаю. Если бы не ты... Сейчас позову Альку, он тоже любит блинчики с клюквой!

– Подожди, присядь. – Они сидели напротив друг друга и молчали. «Осел! Вчера было пять лет как мы поженились! А я забыл! Совсем замотался. Встаю ни свет, ни заря, ведь до работы семьдесят километров туда и семьдесят обратно, а там готовим к пуску станцию, до того ли? Я один каждый день возвращаюсь домой, остальные давно живут там. Но я не могу остаться и на день, потому что и день без тебя, моя любимая, как без воздуха, пропащий! В сумке у меня есть ветка сосны, я сорвал ее сегодня, но забыл



достать», – молча думал Сергей, вглядываясь в жену. Дора обновила ямочки на щеках и сказала:

– Что же ты ее прячешь, неси скорей! Нет, я лучше сама! – подскочила и побежала в коридор к его сумке, достала ветку сосны, с длинными тонкими иглами, собранными метелочками, расправила их – и они раскинулись во все стороны редкими шишками. Радуюсь, почти влетела в кухню:

– Как красиво! А как пахнет! Замечательно! – обняла она мужа. А он посадил ее к себе на колени и, прижав сильно, сильно, спросил:

– Откуда ты узнала про ветку в сумке?

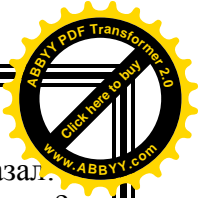
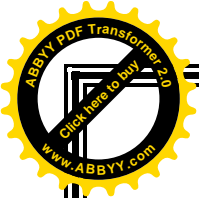
– Ты сказал, разве нет? – целовала его счастливая Дора.

На другой день Сергей поехал с работы домой раньше обычного. Мысли о жене, вернее, об ее вечере, выбивали его из привычного делового ритма, он ревновал и злился на себя за это. Автобус вез рабочую смену монтажников, которые отпахали сверхурочно двенадцать часов за полуторную сдельную плату, да они и не торговались, привычные к авралам во время пуска. Знали, худо-бедно, но теперь деньгами их не обидят. Чужих наехало немало, и потому многих Сергей не узнавал. Командированные были свободны, как ветер, и нередко, примерные дома, становились развязными и нахальными на стороне. В автобусе появилась бутылка, звякал о ее края общий стакан, и за спиной Сергея собралась компания картежников, которая по дороге резалась в очко на деньги. В автобусе пахло бензином. Сергей смотрел в окно, на мартовские сугробы, которые все также упорно грудились по бокам трассы и нисколько не были тронуты солнцем. Галки собирались стайками и пятнали меловой снег черными дырами. Ели и сосны проезжали мимо него, задевая макушками предвечернее небо.

«Пять лет вместе, а я не перестаю любить свою Айседору. Гибкая, как ветла, быстрая, как горная коза, то беспричинно грустная, а то закружит в танец веселья и радости, на седьмом небе вряд ли может быть лучше. А вот прочности с ней как не было, так и нет. Все время куда-то ее уносит, то какие-то открытия на работе делает и торчит в лаборатории допоздна, то голос у нее появился – и тогда просится в филармонию учиться вокалу, то болеет, да так тяжело, что впору навек прощаться, а теперь вот в ресторан отправилась к неизвестному начальнику цеха, будь он не ладен. Перестала меня любить? Не похоже, глаза вчера так и горели от счастья, разве так можно сыграть? А про ветку я ведь ей ничего не говорил, а она... как это она поняла?»

За спиной голоса зазвучали угрожающе и грубо, пересыпая возгласы бранью, как рыбу солью: «Где мой король? Тебя спрашиваю, где король?» – « Не брал, ищи у себя, если он был!» – « Меня обставить? Меня? Да ты знаешь, урод, с кем ты имеешь дело?» – « Отстань! Теперь вижу, что с придурком!» – «Ну, получи!» Поднялся страшный крик. Сергей глянул в проход, и увидел, как молодой парень, согнувшись кошкой, размахивал каким-то предметом перед их бригадиром Володей, а тот, широкий и седой, хмуро смотрел на психа, негромко повторяя: «Говорю тебе, брось. Слышишь, брось, кому говорю». На сиденье лежал и стонал, зажавшись, азартный работяга. Сергея будто вышвырнуло с сиденья, одним прыжком он оседлал парня, зажав его руку всею силою, что была в нем. Бригадир Володя тоже не растерялся и, вырвав у чужака отрезок трубы, отшвырнул его подальше по проходу. Кто-то ремнем перетягивал картежнику руки, а тот скулил от злости, зажмурив глаза и выплевывая ругательства, кто-то помогал побитому рабочему, а кто-то по-прежнему мирно спал, свесив голову на бок. Валялись в автобусе карты с отпечатанными клеточками от сапог и ботинок.

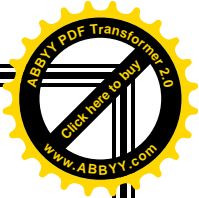
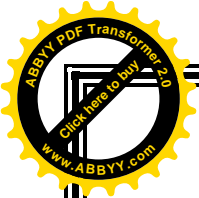
Зашел Сергей домой, и тишина встретила его, только где-то капала из крана вода. У него рот невольно растянулся в улыбке, когда он увидел у входа на вешалке нарядное



красное платье, оно висело очаровательно одинокое. Сергей потрогал его и сказал. Красивое, но не для нас. И, если, я что-то не понимаю, то, может быть, это и к лучшему?» А рядом с платьем вытягивал ему навстречу по-жирафьему шею – желтый с коричневыми пятнами пушистый шарф, на котором была пришпилена записка: «Для тебя! Никуда и ни с кем, никогда! Я ушла за Алькой.» Он надел это конопатое чудовище, замотал под подбородком, и ему стало необыкновенно хорошо. Пух от шарфа задел и ласково потревожил кожу, и Сергей начал то напевать низким баритоном, то подсвистывать мотив: «Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок! Фьи-фьи!» Ему невозможно, как нравилось жить!

Перед сном, в темноте, прижав к груди синеющие под неоновым светом уличной рекламы барашки на голове жены, и, чувствуя, как заполняет его нежность больше земного шара, он спросил: «Почему же ты не пошла сегодня в ресторан?» Она ответила тихо, как дуновение: «Мне показалось, что тебе бы это не понравилось, и я не пошла». – «Тебе правильно показалось. Простишь ли ты нас с Алькой?» – «А, что?» – «Мы из твоего платья сделали крылья и хвост воздушному дракону, получилось грандиозно!»

Е.А. Гусева-Рыбникова



## БАЛАНЖА

Севастьян Петрович Баглянов ехал в Троицын день на свою родимую сторонку в деревню Баглярино, что стоит на реке Вятке. Он ехал в заграничной машине БМВ цвета расколотой надвое чугунной болванки и отливающей ее зернистой сердцевиной. Он заменил недавно свою директорскую «Волгу», которую выгребал на дорогу поворотами руля, а та, как норовистый бык не желала двигаться с места, и требовалось немалое упорство и сила, чтобы наконец-то добиться желаемого результата, а потому, пересев на эту машину, он испытывал мало сказать облегчение и безопасность, но и почувствовал вкус к удовольствию ездить быстро и комфортно. Одно только не давало разогнаться и сказать: «Ну какой русский не любит быстрой езды?!» – это дороги, изувеченные дождями, разбитые грузовиками и морозами да безденежье, да не бережливость. «Надеть что ли монтажную каску и рвануть по ухабам да по рытвинам, доставая макушкой новенькую обшивку кузова? Эх, салон жалко, больше головы», - а потому едет он со скоростью сто км в час с оглядкой на засаду бурбонов, которые кормятся у дорог, наставив запрещающих знаков вместо того, чтобы работать с дорожными службами и городской управой.

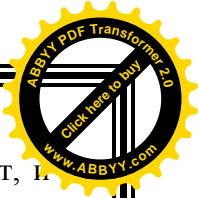
«Теперь уже факт, система рухнула, а колосс все еще разваливается на части и сыпятся во все стороны винтики да гаечки, а люди и тут приспособливаются, достают средства для удовлетворение растущих потребностей – каждый где может. Все из советского народа, но теперь советскую власть назад не приставишь, как безногому сапоги, а Россия осталась, осталась матушка, а мы – никудышные ее дети, если на позор выставляем!» Баглянов знал песни Высоцкого и теперь включил новую запись старых его вещей, про которые тот говорил при жизни: «Пою стоя», – и оттого слушал их молча, лишь влипало сердце порой от слов:

*«Я лошадам забитым, что не подвели,  
Поклонился в копыта до самой земли,  
Сбросил с воза манатки, пошел в поводу,  
Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду!»*

Он повернул в Баглярино и порадовался, что сделал своим землякам асфальтированную дорогу, выкроил и денги, и время, и она не крошится, не плывет, держится вот уж столько лет. Давно каждую Троицу ездит он сюда, есть у него тут дело по совести.

Машину остановил у старого-старого кладбища, видного за каменной невысокой оградой, откуда блестили с одной стороны металлические православные кресты, которые он, Баглянов, ставил землякам уже много лет, а другая щерилась перекошенными и падающими пустотелыми знаками. Севастьян Петрович открыл багажник и вынул оттуда три новых нержавеющей креста с приваренными к ним пластинами, где стояла общая для всех фамилия, лишь различались имена и даты. В деревне все носили одну фамилию - Багляновы, независимо от родства, и тем держались, чтобы не путаться с Чекмасовыми и Касымовыми, да не заблудиться на стороне. Сколько лет он плутал по свету, а вот пришел сюда однажды и не смог покинуть безвозвратно, будто земля и воздух, травинки и кусты, вода в колодцах и реке намагнитили его клетки, и оттого стал он их неразрывной частицей, и влекут они его сюда с неборимой силой, слышит он беззвучный зов этих мест и рад ему. На кладбище он поставил эти три новых креста и забрал с собой три таблички с обветшалых могил, чтобы привезти в следующий раз





новенькие кресты. Огляделся. Серебрится почти добрая половина погоста, может, и красота, но память о всех Багляновых еще подержится на земле долго: «Делаю для вас, мои единокровники, все, что могу!»

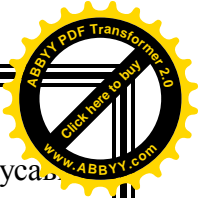
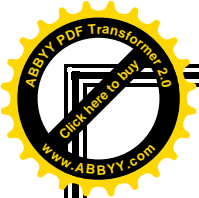
В стороне от ворот сидела на ярком тканном ковре татарская семья, разложив поминальное угощенье – бешбармак в деревянной, расписной, с узорами посуде, тут были и старше его люди, и совсем малые ребятишки, но заходить на православное кладбище они не решались, а потому поминали своих сородичей за воротами. Ему приветливо замахали, подзывая к себе, татары, и он к ним подошел. – Садись сюды, помянем. Чьих ты? – обратилась старшая из них – все еще с блестящими черными глазами под приспущенными веками, старуха. – Петровых и Марьиных? Также? Я ить признала. А ты-от? Я тогда младшой был, а ты совсем малец. Война кончился, а женщины запили.

Баглянов лег на спину, заложил руки за бритый затылок и понеслось!

Прошло три месяца после объявления Победы над фашистской Германией, и женщины ждали возвращения тех, на кого не пришли похоронки, а похоронок было в деревне, если все собрать, – как птиц при отлете. Ждала отца и мать, и их учила со старшей сестренкой, как они будут его встречать, как повиснут на нем и как закружит он их всех троих на своих могучих плечах, а его внесли и поставили посередине гридни безногого на коляске, и он оказался невелик и худ, особенно лицо. Виски обтянуты жесткой кожей, нос острый и с горбом, а морщины у рта – будто разрезы бритвой от носа до подбородка, и только руки казались кряжистыми и непомерно большими. Мать, которая последнее время часто смотрелась в зеркало и прихорашивалась, видно, не могла предположить, что война поглотившая чужих мужиков, отрыгнет ей мужа от сытости, не забыв напоследок ухватить причитающийся ей кусок.

Она присела и по животному завывала, выскребывая щепу на полу ногтями, а потом опомнилась и легла с ним рядом, уткнув голову ему в грудь. «Ништо, милой, ништо! Я тебе родехонько!» – выговаривала она все на «о», да на «ео». Два мужика вернулись в Баглярино – отец да Миколай, и был еще завхоз, который по инвалидности прожил в деревне всю войну и, надо так случится, пригревал Миколою женку, а за это и подкармливал детишек. Все ждали, что Микола убьет подженщика, но тот пришел к завхозу и поклонился в ноги. «Благодарствую, Степан, что все мои целы, подсобил бабе и детям не дал погинуть». – «Так ты-от не в обиде?» – «Нет, кака обида? Налюбовался всяко, важней жизни, токмо сама жизнь. А она у нас исть!»

Отец и мать не зажили, а закуролесили. Мать подалась в пьющую компанию женщин, потерявшие мужей на войне, а отца утаскивали поочередно к себе одиночки, а там поили самогоном до отвала и укладывали у себя на пуховики. Однажды они с сестрой голодные пошли разыскивать мать и зашли в дом, в котором собирались бедовать вдовы. Что выбрасывает память из далекого прошлого? Что зацепилось и до сих пор пугает, как тогдашнего пацана? Почти пустой жбан самогона? Или сизый полумрак с запахом сивухи от него? Тонкоголосый бабий вой со слезами, смешанный с визгливым и истеричным смехом? Пьяная растерзанная баба в углу, с задранной юбкой и икотой? Что-то другое. И, как тогда услышал он голос певуний деревенских, что выводили на голоса не тоскливую жалейку, а выкрикивали отрывисто приговорки с подскоком из нутра: «Иииих, ха, ха, ха! Бала, бала, ла, ла, ла», – а две молодайки, задрав руки вверх, осиново тряслись, в так размахивая ими, оголив ноги задранными юбками, разжигали себя, топоча босыми ступнями, то сблизившись до упора животами, то развернувшись задами, мелкой дрожью трясли ими, как студнем после мороза. Зацепив друг друга за руки, они



понесли по кругу, перебирая вслед ногами с неистовой быстротой, издавая гнусавые грудные звуки через зубы. Баланжа, вот что это было такое, баланжа! Дикая древняя пляска, когда голые женские тела, вымазанные в глине, всю свою первобытную и здоровую силу выпускали в лихой пляске, превращая ее в вихрь и дрожь от головы до пят, чтобы не осталось на теле и соринки. «Бала, бала, ла, ла, ла». Будто спицы в стремительном беге колеса уже не различимы, так и в лихом переплясе двух молодых не было видно отдельно ног, пальцев, лодыжек, а неподвижный пол отделился от их ног, оставаясь сбитым из досок и затертым от времени. Они легко неслись над ним, не прикасаясь и не отталкиваясь ни от чего более, а затем начали медленно оседать, сбивая единый порыв. Стоп! Вот одна показала другой пальцем на ноги, а другая подняв выше юбку, заглянула под нее, а затем выгнулась назад ветлой, заломила за голову руки и заголосила: «Обратнуооо! Обратнo ня будет у меня робеночкааа! Пустобрюхая обратнo! И где мой королевиц?! Мой жоних, мой естреб кольчужной! Состарюсь до клюки одинокооо, горькушею промытарю век девкоюу!» По ногам у нее, как по молочным стволам стекала струйка за струйкой и застывала рубиновыми ожерельями кровь. «У! Война проклятушая! Ненасытная забава шайтана! Боготуровых зерно сбурило, с кем судьбу вязать, с дедам хворыми?!» Рухнула черноглазая на пол и заплакала девичьими слезами безутешными. Мать увидела детей, но хмельная не могла встать с табурета, а они зареванные дергали ее за слабую руку и просили: «Мам, пойдём домой, мам! Пойдём домой, мама!»

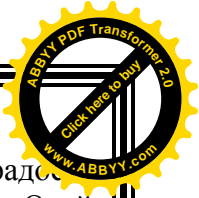
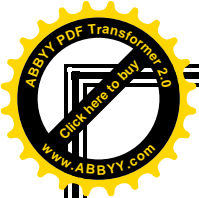
Севастьян Петрович поднялся со спины. Хозяйка знаком руки велела всем притихнуть и заговорила:

- Ты боготур, как отес, и шо обернулси? Здеси пустота, помре Баглярино, одне старичео!
- Земля зовет, Родина. А это-то вы баланжу плясали тогда?
- Толды я.
- Значит, нашелся королевич?
- Нето. И! Свои сосватали, он-от больше на двадцать рок и хром – от войны, но детёв я иму напечатола, и вон коки взялись ядрам! Я все жа сшастлив, и ни то ить, как те.

Баглянов поехал к дому, который он начал строить на месте родительского. Уже стоял крепкий бревенчатый сруб под крышею, но работы все еще было невпроворот, потому что дом, как все живое на земле, требовал человеческого труда и старания, мужской силы и женского тепла, и потому он, несмотря на Великий праздник, распускал пилой доски для пола, наслаждаясь запахом древесных опилок, которые набились ему под рубашку. За этим делом он отдыхал от городской напористой жизни, от забот, где взять денег, чтобы заплатить рабочим, от мешкотной суеты.

Что же было потом, после того дня, когда он увидел в бабьем отчаянии баланжу?

Наутро, когда они проснулись с сестрой, солнце уже поднялось изрядно и опускало свои лучи через окно в светелку, и в его ласке мать купала отца, посадив его в круглую липовую кадку. Она, в исподней белой рубахе, с мокрыми еще волосами, мылила ему голову и приговаривала: «Мыльчем, мыльчем отшулушу и отважу бурдавки бабски-те, и мне самой Петя-от нужен, детям-ете нужен, хозеин-от нужен в дом-от. А я отбегалась по гульбищам, срамотиться боле ни стану, фатит. Сколь отметок-от надсадил тебе ворог по всему тельцу, ах, ончутка, ах, злыден!» – «Мавруня, глаза ить дерет, плёосни на руки-то, да ни капиток, а студеной, студеной!» Они смеялись тихонько, чтобы не разбудить детей. Мать, похоже, встала до заутрени – и дом выскоблила, и сама вычистилась, и отца отбелила. Завтракали все вместе за накрытым холщовой скатеркой столом, в чугушке дымилась картошка, в миске были свежие пахучие, в пупырышки салатовые огурчики,



лук, хлеб да соль, но вкуснее он больше ничего в жизни не пробовал, потому что радость была в каждом слове и в каждом жесте между отцом и матерью, и они с сестрою Олей тоже пересмеивались.

А после отец попросил мать и Олю, привязать его вожжами к огромному чурбаку для расколки дров от пояса и ниже, дать ему в руки калун и подставлять березовые полена, а он их с размаху рубил на чурки об однородный чурбан.

– Севок, ты цуроцки-то сноси к овцарне, и стуопоцкой их лади, стуопоцкой», – поучала мать.

Так отец раз и навсегда перестал чуждаться потери ног и в доме делал все сам. Он быстро передвигался по полу на руках, если не мог чего-то достать с коляски, а детям это умение отца нравилось, они тоже поднимали свои ноги вверх и пытались устоять и двигаться на жердочках рук, но у них мало, что выходило.

Севастьян Петрович вышел покурить и сел на бревна перед домом, расстегнув на выпуклом животе пуговицы, чтобы высыпались из полотна опилки, да так и остался. Слева и справа к нему из соседских набекренившихся домов, подтянулись два старичка, схожие в старости между собой хитрецей запрятаных в морщинки глаз, сивыми брылями, да заячьими шапками и валенками с галошами, которые они не снимали и летом. Завидя Силыча, как они его прозывали, да еще и с сигаркою, они под любым предлогом пристраивались к нему.

– Табак ноздрю прошшибат?

– Да, нет, теперь таких не курят.

– Видю, что прошшибат, не ноздрю, талды око.

– Дым ест глаза...

– Значится баский, угошшай, Силыч?

– Берите.

– Благодарствуем!

Старики раскуривают сигареты и пускают из провалившихся беззубых ртов голубоватый дым, для порядка покашливают, покрякивают, курят.... Ползет по бревну черный, будто только что выкрашенный свежим лаком, жук. Дед справа, подслеповато его разглядывая, говорит:

– У! Ноготь! Расползался тут!

Напротив, над землей, до заката солнца появилась однобокая белесая луна, невзрачная под еще трудовыми лучами солнца, она могла быть и не замечена, но дед справа произносит:

– Говорят на луне-ать наш луноход-от исть. Брешут то не?

– Правда.

– А чатыре лемех он-от потяне?

– Нет. Один потянет.

– Не, два потяне!

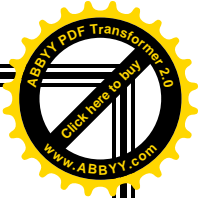
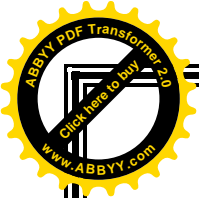
– Два не потянет, только один.

Пробрался справа со двора через скособоченный от старости забор петух, ярко-медовый, разноперый, ухоженный, важно поднимает под углом лапы, идет с подкукареком там, где красные сережки.

– Хорош петух! – похвалил Севастьян Петрович.

Старики молчат и курят, только правый сосед зажмурил глаза от похвалы, а левый произносит невзначай:

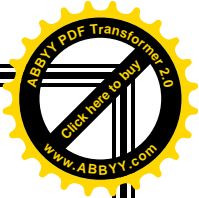
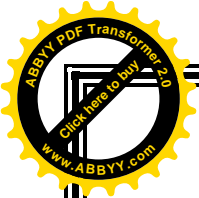
– А мой его побиват.



- Что?
- Мой, говору, его побиват!
- Ты это дед о чем?
- Как об чем? О питухе!
- А все жа луноход-от по луне чатыре лемех-от потяне!..

Севастьян Петрович глядел на прозрачную половинку луны, которая не исчезала, как табачный дым, а собиралась в темноту ночи сторожем, на пустую улицу с забитыми окнами домов, затянулся и, выпуская сквозные колечки, подумал: «Так здесь хорошо, что уезжать не хочется!»

Е.А. Гусева - Рыбникова



## БАСАНОВА

Кобылица, отбившаяся от табуна, долбила копытами по равнине, рассекая белой грудью черную пропасть ночи, захлебываясь встречным ветром, от которого тряслись ее задранные над оскалом мягкие губы и распрямлялась в такт за головой упрямая грива, азартно и нещадно распахивались ноздри, хватающие вольный сквозняк степи. Нечаянно и негаданно она уткнулась мордой в озерко, что разлилось маленькой впадиной среди дымчатой завесы цветущего аира. Она пила воду жадно и с затяжкой, а потом весело заржала и полетело озерко с ее вывернутых губ высоко в небо, став лунным колесом, плашмя заливающее изумрудной пылью шальной гон лошади. Кобылица кинулась опретью от лунного обзора, и только хлопки от ее галопа все отбивало и отбивало бумерангом эхо.

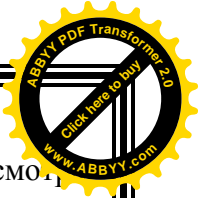
Женщина летела в самолете. Она не могла оторваться от иллюминатора, различая внизу бегущее по ободу земли марево необузданного животного, не уступающего в скорости летящему транспорту. Она летела к морю на какие-то курсы по обмену опытом, на которые ей никогда бы не попасть, если бы ее начальница не переиграла все в последний момент из-за приезда литовских друзей. Эту встречу начальница не могла отменить, потому что литовские руководители предприятий никогда не ездили в Главк с пустыми руками, они везли сумки с продуктами, приготовленными по старинным дедовским рецептам, которым они давали названия своих рек и достопримечательностей. Оставляли литовцы пакеты с сырокопченой колбасой и со скеландисом, с сырами и ликерами, да с крепчайшими напитками «Суктинис» или «Паланга», а обратно увозили баснословные фонды на зарплату, на социальное развитие, на подъем энергетики в республике, на строительство жилья и курортов, отдыхать на которые приглашались нужные люди из Москвы. Чем больше у работников Главка имелось возможностей делить, распределять, утверждать, тем значительнее и весомее сумки прятались у них за столами, а ей доставались коробки конфет «Пяргале» да вот неожиданно – поездка на морское побережье. Женщина не очень-то морочила себе голову: «Кому все это выгодно?» – все довольны, а ей надо не более других.

В аэропорту ее встретили и повезли в гостиницу, заранее извиняясь, что на одни сутки ее поселят в номер на двоих, вместо бронированного «люкса», но ей это ничего не говорило, и она заверила встречающих: «Ничего страшного, все нормально. Пусть будет номер для двоих». Утром она увидела свою соседку по номеру, но не одну, а с одиннадцати – двенадцати летним сыном, который поразил ее своим недугом, потому что и руки, и ноги его плохо слушались.

Вы не замечали, как съеживается внутренне человек, когда видит чужую аномалию? Это потом ответит сердце, навстречу открытой улыбке, приветливому жесту, а сначала – ужас перед изувеченной природой, перед бессилием плоти делать тоже самое, что все. Мальчик смотрел на женщину и улыбался во всю ширь: «Давайте знакомиться, меня зовут Рома», – и он протянул женщине холодную, розовую с голубизной ладошку. «Нина» – ответила женщина и крепко сжала его вялые пальцы. Когда мальчик отошел в уголок и склонился над своим рисунком, его мама, которая представилась Натальей Петровной, понизив голос, принялась рассказывать историю его болезни.

Она, впервые беременная, работала в цеховой лаборатории аммиачного производства, когда раздался за ее спиной взрыв в машинном зале, после чего она потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Машины скорой помощи увозили раненных, ее тоже положили на носилки и отправили в травматологическую клинику, где





обнаружилось, что у нее открылось кровотечение, которое к моменту осмотра прекратилось. Ее продержали ночь, а утром отпустили домой. Немедленно она побежала к врачу, у которого наблюдалась, и тот ее успокоил, что все обойдется, и не рекомендовал избавиться от ребенка. Однако малыш родился с патологией не только конечностей, но отставал и в умственном развитии. Ей от завода в качестве компенсации дали большую квартиру, за которую она теперь платит пятьдесят процентов квартплаты, раз в год для ребенка выделяется путевка в санаторий и, конечно, любая просьба по оплате его лечения исполняется безоговорочно. Рома же на удивление покладистый и очень доброжелательный ребенок, тянется ко всем с общением, но дети его не всегда принимают в свой круг, да им не всегда понятны его фантазии.

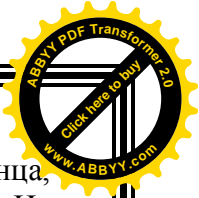
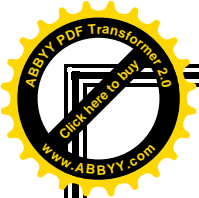
Нина смотрела как долго, не вставая, Рома рисует. И, вдруг, будто вырвалась и с треском развернулась внутри пружина, так захотелось ей, чтобы он стал бегущим и скачущим ребенком, каких она видела у себя дома, неутомным и непоседливым, вечно припрыгивающим и лазающим, надоедливым и требовательным. Она включила свой портативный магнитофон и поставила танцевальную кассету, из которой барабанными палочками начал отбиваться ритм «басановы», им вторила гитара. Барабан и гитара, гитара и барабан – этакое смуглое и рапсово-желтое выделяли они на пару, что-то здоровое и захватывающее в быстром кружении гитарного перебора, грубовато-возвышенное и чувственное – от рептилий: то, что ощущаешь кожей вплоть до пяток.

Нина встала посреди комнаты и разулась, она начала свою пляску. Нет, не перед мужчинами, так она перед ними не танцевала, а перед невозможностью маленького подростка – ударить со всей силы ногой по мячу, чтобы разбилось вдреизг окно соседки с первого этажа; зажать руль велосипеда и скатываться, не притормаживая педалями, по каменистой горке, подпрыгивая в упоении в седле на горбатой, в ямках, колее; запустить камешек в море, чтобы он скакал наездником на волне... Держать ритм, Нина! Держать ритм! Одна рука вперед, другая в сторону, и голова – то вперед смотрящая, то резкий поворот в сторону другой руки, и снова на кончики передних пальцев, ноги сами идут – то с пятки на носок, то обратно, влево, вправо, корпус ровный, как бамбук, и только бедра поспевают за ногами, плавно и таинственно, поворот отчаянно головой – и вот Нина уже протягивает руку, улыбаясь мальчику.

Рома встал, придерживая ее кончики пальцев своей не послушной рукой и пошел неуклюже на нее. Чуть назад, не теряя ритма, отступила и закружилась волчком, раз, еще раз и еще, подхватила его вытянутую руку и подтянула его в танец: «Ногами, двигай ногами, малыш! Молодец! Давай, двигайся! Двигайся! Делай как я, и головой не забывай поворачивай, а теперь бедром, бедром меня задевай! Получается! Как прекрасно у нас получается!» Взят ритм, взят ритм и мальчишкой, он идет в танце, почти без помех, широко улыбаясь, не сводит глаз с женщины, и танцует «БАСАНОВУ»! «Нам с тобой на конкурсе бальных танцев дали бы приз!» – кричит ему на ухо она, а он смеется, не веря ей ни капельки. Музыка оборвалась, а он хотел танцевать еще. Нина должна была уйти, так надо, но вот повернулась и сказала: «Не унывай, танцуй один, а я буду здесь еще два дня, так что мы с тобой еще напляшемся! Тебе же задание – быть под стать мне! Включай музыку!»

Она отказалась от номера «люкс» и осталась с соседями.

На другой день Нина с Ромой лежали на пляже, потому что Наталья Петровна отправилась по делам и попросила Нину побыть с мальчиком. Рома, лежа на животе, как обычно, рисовал, а Нина созерцала, поглощая в себя, играющие в догонялки волны, путаницу солнечной сети, которая под водой спешила за ними, и дробь камней, гравиевой дорожкой плотно прилегающих к морю, лениво поворачивающихся за настойчивыми



всплесками зеленоватой воды. Она подняла руку, закрывая ладонью диск солнца, подивилась радуге, возникшей вокруг разжатых пальцев, которая не исчезала, когда Нина двигала рукой. Она повернулась к Роме: «Эй! Вставай, разувайся и будем ходить босиком!» – «Мне мама не разрешает, осень и уже ногам холодно. Дело в том, что я этого не ощущаю и могу застудиться». – «Я буду босая тоже. Тебе особенно полезно щупать землю ногами. Снимай кроссовки, видишь, я уже стою!»

Побережье было каменистое, под ногами выступы камней раздражали подошву и давили на нее, стоять было неловко и больно, но возможно. Рома тоже встал на камни, широко раздвинув руки и ноги, как для объятий, скоро зашатался и потерял равновесие. «Вот ты какой медведь, да и я не лучше. Пойдем по берегу! Сколько сможешь, столько и пройдем». Они двинулись по камешкам, стараясь не подавать друг другу вида, что это прогулка для них пытка. Они с натугой, но старательно смеялись, а затем постепенно выровняли шаг, пересиливая свои болезненные ощущения. Рома пытался даже пританцовывать, и его ноги, омываемые холодным морем, раскраснелись. Когда они уселись, Нина, шевеля исколотыми пальцами, сказала: «Тебе нужны такие упражнения, и главное, не жалея себя, дави ногами камни, чем они будут грубей, тем лучше! А ты будешь все более выносливым и подвижным, даже в футбол начнешь играть! Не веришь? А ты попробуй!»

Вечером, когда все собрались в комнате, оставив дню суету, Нина под села к Роме, который опять рисовал в альбоме и заглянула в него:

– Что же ты рисуешь с таким упорством?

– Нина, не слушай его, все равно ничего не поймешь. Он по-своему соображает, не очень-то в этом разберешься!- сказала Наталья Петровна, как бы извиняясь за сына и его странности.

– Нет, почему же? Мне интересно, а вдруг не так уж он и нов?

Она взяла рисунок в руки: люди были на нем малы и, видно, мало значили в жизни ребенка, но безжизненные впадины хорошо различимы, а возвышенности – выпуклы. Рисунок Рома вдоль и поперек избородил линиями, а в центре, изображенный тонкими и дрожащими линиями, повис в пространстве крупный кристалл. На его гранях выделялись девять жирных точек-узлов. Над всем этим, дрожащими линиями, изображена была женщина с волосами, свернутыми в кольца, вихрем летящие по сторонам, босоногая и почти прозрачная.

– Ты мне пояснишь, Рома?

– Если вы этого хотите, то да!

– Расскажи, пожалуйста!

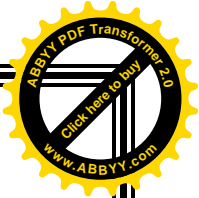
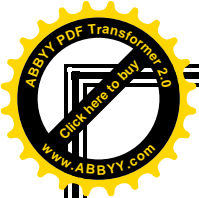
– Это луна, где земное общежитие близко, но не достигается. Линии – это проекции земных меридиан, и потому все тесно взаимно завязано. Есть люди, живущие только по земным меркам, их тут не отыщешь, а есть, которые попадают в область взаимодействия земных и лунных линий, и тогда они проецируются и сюда, и черпают из этого кристалла необычность восприятия и поступков.

– Что же это за кристалл?

– Это кристалл долженствования, то есть - как должно быть, кристалл самосохранения вселенной. Девять планет, девять выделено в нем точек, и везде должна была быть жизнь, но, глядя на нас, людей оставили в одиночестве, потому что люди стали опасны. Ведь не только на луне пустые воронки, но и далее, несмотря, что есть второе солнце.

– Грустно. Одиночество противоречит нашей природе, а мы на нее обречены, так потвоему?

– Так.

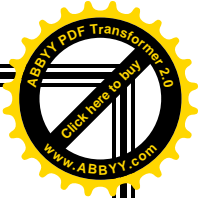
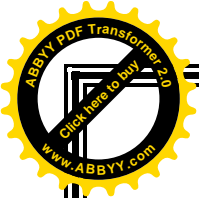


- А женщина?
- Это вы!
- Я?
- Вы! Вы не боитесь одиночества, не боитесь холода камня, и устремляетесь к кристаллу, восстанавливающему жизнь!
- Ты ошибся, мой мальчик, я ужасная трусиха, и не верю в одиночество, но то, как воспринимаешь ты окружающий мир, очень любопытно. Я схожа с твоей красавицей только тем, что также люблю ходить босая! – Нина еще долго рассматривала рисунок и наконец спросила: – А где же ты?
- Я? Я кувыркаюсь на стыке вертикальных и горизонтальных линий и не могу никуда пробиться. Я – урод.
- Не говори так.
- Другие так обо мне говорят.
- Это неверно, ты не слушай! Ты недужный, но не урод. Уродство выглядит иначе, поверь мне.
- Если вам нравится, возьмите себе рисунок на память от меня.

Белогривая кобылица выбрала себе лежбище среди высокой степной травы; здесь в урочище, где всегда тень и солнце не печет в зените, она улеглась, устраиваясь помягче и посвободнее. Боль острым обручем перепоясала ее брюхо, и она захрипела, а потом заржала протяжно, но не громко. Брюхо заходило и вздыбилось, а потом погнало содержимое в ноги, кобылица натужилась и попыталась опростаться, но плод не выходил наружу, тогда она повторила все сначала, прислушиваясь к внутриутробному клокотанью, не замечая более ничего окрест, она вся сосредоточилась на одолении боли. Дико и страстно прогорланила кобылица, оглашая степь торжеством, а затем раздалось жеребьячье дробное ржанье. Жеребенок, чуть только выбрался на волю, сразу же попытался встать на ножки, но они были так тонки и беспомощно слабы, что подогнулись, и он упал в траву, затем с напряжением повторил попытку заново и, дрожащий в коленях от усилия, устоял. Кобылица лизала и лизала его большим и мокрым языком и, зализывая, пригнула его к себе, ощупала языком его уши и глаза, его нежный нос и губы, его мягкую белогривую холку и лодыжки – все было на месте, и скосив свой влажный, отливающий гематитом глаз, любовалась гармонией рожденного существа. Он был белый, как озеро, свисающее над головой, которое она, чтобы утолить жажду готова выпить, но не может пока встать и дотянуться до него. «Лунолобый» – вот как она назвала его про себя, вылизывая по кругу завитки его короткой шерстки на лбу, и, развернувшись брюхом, с радостью подставила ему сосцы в тыкающиеся бестолково губы, скоро почувствовала тягучую сладость кормления маленького, подобного ей детеныша.

Жеребчик прилип к материнскому животу и тянул в упоении сок в себя, согреваясь рядом с кобылицей, насыщаясь и засыпая в блаженстве и неге. Луна становилась все бледнее и прозрачнее, она растворялась под солнечными лучами, которые заявляли о себе уверенными розовыми лавинами. Заря поглощала черноту, властвующую ночью, заполняла с востока лиловое полушарие, и вслед ей по полигону двигались бирюзовые пласты. Побурели макушки трав, и у горизонта забила Ярь-птица, разливая над землей клубами свет от огненных перьев, медленно выпячивая над степью округлый светящийся бок.

Е.А. Гусева - Рыбникова



## ПАДЕСПАНЬ

- Ну, вот, кажись, очухался! Ажно страшно стало, вдруг как окочурился!
- Ха, столько пить, да всяко поило, что и помереть запросто в момент. Не мудрено...
- Дак, не боле нашего хлебал, а скукожился враз. А каков был ухарь! Каких только дел не заливал, везде наиглавнейший заводила, прямо пахан! Куды там!
- Да, на него гляючи, не скажешь, что не спасует, - как пить дать, спасует!
- На вид сморчок, а себе туды же в коноводы!
- Кто это? О ком травят баланду? Обо мне? Где я и с кем? Вчера пили, пили по-черному, а с кем – провал, и где взяли деньги? Приоткрою глаз незаметно, посмотрю, кто же это во мне засомневался? А!! Это деревенские, нюхали стул, жгли пластмассовый голубой стул и нюхали, я их с собой позвал – продать унитаза. Он же, гад, тяжелый, одному было никак не отволочь. Да, значит, распатронили нужник! Вот откуда деньги и попойка! А как же теперь без унитаза? Конечно, иногда допьешься до чертиков и очко не надобно, серно не успеваешь, да и не соображаешь, что к чему. Но сегодня – в норме, унитаза крайне необходим.

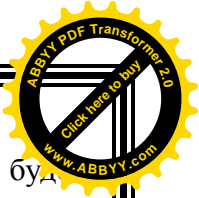
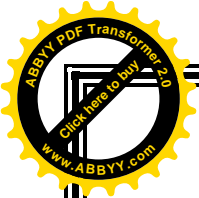
С тюфяка в углу поднялось замызганное существо, в потертом на локтях свитере и когда-то бывших синих джинсах, – неопределенного возраста и без осмысленных занятий; оно двинулось в проем туалета и замерло перед торчащей дырой трубы, на которой не было толчка, и слить было некуда. Правда, еще оставался умывальник и кран для воды. Существо подошло к умывальнику, глянуло на себя в зеркало, и потому что кожа на лице была выбрита клоками, можно было понять, что это – мужчина. Где-то в голове еще держалось понятие не путать умывальник с писсуаром, но терпение тоже лопалось. «А куда же мои ночевщики пссс...? Нет, всех вон! Квартира моя, загадят не отскребешь! Я ведь никакой-нибудь бомж, живущий по подвалам, я имею собственность – квартиру! Да, полгода назад все здесь было по-человечески, а теперь... Жрать охота! Со всех сторон плоть донимает, а язык, как будто дерьмо лизал, дыбом встал и изо рта просится».

– Вы кто? Ясно. Куда ходили пссс...? Все на улицу! Горшок вчера прогурманили, потому сегодня не придется кайф над ним ловить, ищите место в подворотне, хоть за углом, но не здесь, я еще маленько соображаю, что к чему и моя квартира - не общественный сортир. Понятно?

– Да, че ты, че ты запсиховал, сходим коли надо, пойдем, Грундик, отседова. А вчерась заливал – банк брать будем! В деньгах купаться! Чуть ли не в Америку рванем! Как оно там? В Лос- Анжелес говорил.

– Я говорил? Говорил, значит, сделаем. Погуляйте и возвращайтесь, а я пока заготовки верстать буду.

Все-таки раковина сработала писсуаром, и под тем же краном, что послужил смывным бочком, Саватей пополоскал беззубый рот, старой тупой бритвой поскреб щеки и подбородок, зализал редкие волосы мокрыми руками, поискал в шкафу одежду и увидел, что все приличное он уже пропил. Все для него сделала сестра: и квартиру привела в порядок, и одежду хорошую от родственников собрала, и кодировала от пьянства, а он не сумел остановиться, иначе мысли одолевали о том, что он сделал с единственной своей жизнью. Был ли у него еще шанс? Наверное, – если бы он мог перевоплотиться в чужой облик, а этот он доконал окончательно, а ведь и орлом каким был, и женатым, и любил, и его любили, стихи писал, а теперь – лучше бы ослепнуть, воображение, может, более сносное подобрало бы обличье. «Говорят, в Америку обещал всех увезти, и ведь верят, верят черти всякой чепухе и согласны банк грабить, был бы заводила, а они тут как тут. Презирал бы их, если бы себя не презирал еще сильнее. Жрать



охота до невозможности, не помню, сколько уж не ел... Ну, раз готовы на дело, то буд вам дело», – усмехнулся Саватей.

Он пошаркал на кухню, там с отвращением взирал на грязные стаканы и какие-то крошки, на которых сидел коричневый, металлическим панцирем отливающий, таракан. Таракан бросился было бежать, но крошки стало жаль покидать и он остановился, да и слабинку почувствовал в человеке. «Жри! Не трону тебя, тоже ведь живое существо, тварь, насекомое, и все тебя нороят прибить, а много ли съест таракан? Жри, уж меня точно не объешь, у меня к тебе нет претензий! Угощайся, пока я добрый!» Таракан снова подкрался к крошкам, зашевелил усами и сосредоточился, – а вдруг да передумает хозяин, да шлепнет вонючей тапкой по морде. Саватей знал, что у него ничего нет, даже корки хлеба, только крошки, да и то их трескает нахальный таракашка. Можно поехать к сестре, всего тридцать километров поездом, у нее дома настоящий рай. Она его и отмоет, сама последний раз купала, и накормит до отвала, а поканючишь, так и рюмочку нальет, и спать на белой простыне уложит, разве не рай? Доброты она немереной. Сам уже возрастной, а она тем более не молодая, болеет часто, не хочется ее наивность подводить, но сделанного не воротишь, квартиру-то начисто раскурочил. Вот и санузел, последний оплот цивилизации, сбегнул по дешевке, за трехлитровую банку мутной самогонки. Как еще живы от нее остались, до сих пор нутро горит. А есть охота не на шутку, хоть бы челюстями чего подвигать, и то было бы полегче, но съедобного на этом побоище не найти. В Америку, значит, решили податься, в Лос-Анжелес, говорят! Это я их сговаривал, я! Вот потеха, нас там только и не достает! Лучше уж на луну, никому хоть не в досаду, пусто там, и гуливать не придется промышлять».

Мысли уже ни о чем не работали, только о том, где взять еду?

А вот вернулись и Грундик с Кренделем, ребята еще не совсем конченные, но пропащие, это и ежу понятно.

– Не бойсь, мы отмочили педали, обойдемся без твоего фарфора. Опохмелится бы! Ты заначку не оставил?

– Не опохмеляюсь. Я только жрать хочу, у вас ничего не сыщется.

– Нет, откуда? Ну, что, старшой, определился куда двинем прохары?

– Я то определился, а вот вы не загундосите, а вдруг задушить кой-кого придется?

– Как ты, Грундик?

– Я то? Ненавижу всех этих чистеньких, да богатеньких! Чо они за жисть понимают? Картохи насажают кубатурами, цветочки, садочки, окошечки в кисейном вязеве, тьфу бестолковые. Тетки в земле копошатся, бочонки свои кверху задерут, мимо пройти сил нет никаких! Так бы их за разврат и задушил своими руками!

– Значит, злости много накопил?

– Уйму целую, не боюсь померится силою, ничо не боюсь! Тока бы горло продрать чекушечкой!

– Значит, заметано?

– Заметано!

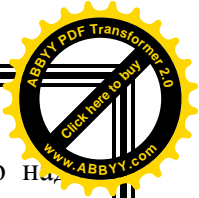
– А в Лос-Анжелес не поедем, значит?

– Лучше нацелимся в Лас Вегас!

– Мы согласны.

– Тогда смотрите сюда! – Саватей достал помятую тетрадку с заложенным между исписанными неразборчиво страницами огрызком карандаша и начал обрисовывать предполагаемое ограбление. Скучно смотрели его напарники на чертеж, который выводил тупым черным концом Саватей, изображая дорогу на край станицы к известному всем





озеру под названием «Гусиный ландыш», лесок и жертву, которую непременно надо было задушить и отрезать голову.

Обалдело мигали Саватей его собутыльники и на вопрос:

- Задача ваша вам понятна? – глядя на кресты в лесочке, помечающие их засаду, невнятно мычали в ответ, кивая заросшими чубами.
- Вижу, что вам ни черта не понятно, но конспирация в нашем деле – наиважнейшее орудие, потому не буду вам разжевывать. Слушайте мою команду и все, ясно?
- Да... – протянули два голоса, слитые в один охрипший звук.
- А сеж он настоящий заводила, эдак разрисовал реванш, как будто мы взаимодашные «кондрашкины» братовья. Может, потом водки даст? Пошли что ль?
- Айда! Кто не рискует, тот не пьет «шипра».

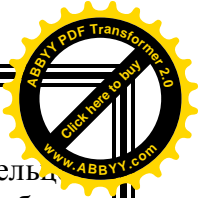
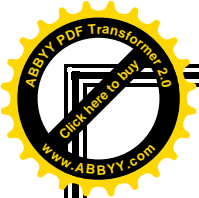
Саватей взял с планом листок, поплевал на него и прихлопнул слюной к обоям на стене, которые были испорчены в очередную попойку и теперь пузырились разводами и потеками неизвестного происхождения, с тускло-бурыми пятнами от раздавленных комаров, с разлетевшимися от них точечными взрывными попаданиями.

Три человеческие фигуры продвигались по асфальтированному тротуару станицы и боковым зрением различали буйные орнаменты аляпистых георгинов, размашисто и грудасто цветущие за штaketниками сиреневыми, игольчато-лимонными и пурпурными шиньонами, над ними смачной охрой задирали к солнцу податливые лепестки подсолнухи, яичной желтизной заливая свою кладовую из граненых семечек, а за этим великолепием тянулась сочная зелень хозяйских огородов.

Встречные смотрели на бродяг брезгливо, порой с нескрываемым отвращением отворачивая носы от их тошнотворного духа. Двое шли за третьим, который двигался вперед, не оборачиваясь и не зыряя глазами по сторонам. Саватей плевал на эту брезгливость, его больше раздражал страх, что он все еще подобен им. «Работайте! Работайте, чтобы не оказаться со мной в одной дыре, – бормотал он про себя. – Между мной и вами – непроходимый лог, хорошо, что так, но мостик тоненький все же качается для всякого. Смотрите на меня с ужасом, я и есть ужас, не для вас, для себя! Но ужаснее этого ужаса – это то, что я все понимаю, а изменить уже ничего не могу!»

Он вел своих новых проходимцев в конец села, по нарисованному на бумажке плану, а Грундик с Кренделем шли по знакомой им с детства дороге, прожженной насквозь их босыми пятками, которая теперь притихла от их торопливого шага. Саватей вывел их из станицы, и они начали спускаться под горушку, которая была оплетена короткой травкой, прозванная «куриный спорыш». В низине сельские мужики, после долгого приставания жен, соорудили запруду на мелководной и маленькой речушке и, когда она пересыхала летом, то оставался ставок, озерко, выдерживающее засушливые летние дни. Самый захудалый двор в станице и тот разводил гусей, а в богатых домах им уж давно не считали, разве что какая скупая хозяйка знала своих гусей наперечет. По утрам, когда раздавался трубный и призывный звук авторитетного гусяного вожака, выпущенные из дворов гуси заполняли улицу, поднимали гвалт и крик и вразвалочку, как боцманы на палубе, спешили в ставок, а самые бойкие махая со свистом крыльями, взлетали над крышами домов, направляясь с гиканьем за вожаком. Эта процессия плюхалась в ставок и устраивала сборище. Как футбольные фанаты на трибунах, гуси похлопывали себя крыльями и издавали через длинные шеи приветливое гоготанье. С перекличками постепенно гуси утихомиривались и усаживались на воду.

По гусяной тропе и двигались сподвижники во главе с атаманом, потом свернули на обочину в обход гусяного стада и удалились на другую сторону подальше от досужих



свидетельниц в перелесок, где дурным макарон разрослись ракиты. Пришельцы отгораживали от станицы тополя, выстроенные друг за другом в аллею, – они были посажены на субботнике передовыми станичниками. Там, за этой аллеей, забравшись в ракушечник с глаз долой, они натолкнулись на изваяния, то ли сделанные из гипса, то ли из белого известняка, то ли побеленные просто мелом – так отрешенно, призраками гляделись они среди деревьев. И это не были статуи Венеры Милосской или Аполлона Бельведерского, на худой конец – ядреной девушки со снопом колосьев, это были просто большие головы на постаментах, точные копии многих односельчан. Грундик и Крендель признавали их сразу, а Саватей как новый человек читал подписи под головами, чтобы узнать, кого же таким образом увековечили местные жители? Здесь были бывшие: редактор районной газеты, у которого нос, как бульдозер, – повторявшийся в точности на известняковой голове; директор школы – в очках, которые он в жизни носил от дальнозоркости; председатель совхоза – щекастый и с двойным подбородком; летчики с летными очками на лбу и танкисты в шлемах со звездочками. Что же их объединяло? Все они были либо солдатами на прошедшей Отечественной войне, либо заслуженными гражданами в настоящем.

– Откуда это? Кто сотворил такое? У кого мозги совсем высохли? – повернулся Саватей к старожилкам.

– Это к дню Победы поставили, «Аллея героев» прозывается, ну, это как у баб чепчики на грудях, блюгалтеры...

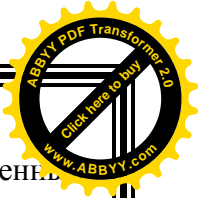
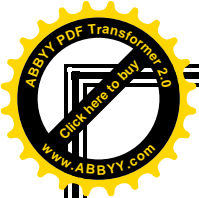
– Бюсты называются, я понял. Да, угораздило же Вас, дорогие земляне, принять благодарную память потомков, будто разряженный в саван маскарад. Саватей поискал удобное место, где белые головы стояли к ним затылками и сказал своим архаровцам:

– Ну, вот здесь и будет ваша засада, и без моей команды пост не покидать. Разведите костер, я видел, вы это умеете, обложите его камнями. А валежника здесь невпроворот, и берегите угли, потому что нам нужны горячие, пылающие угли. Сумеете?

– Не сумлевайся, начальник, все будет в ажуре.

– Вот и лады, а я скоро вернусь, – и Саватей нырнул в лесок и исчез с глаз, а Грундик с Кренделем не спешили исполнять команды своего новоявленного прапорщика, развалились на земле, начав на все его указания и угрозы.

Саватей вышел на окраину лесочка и сел, вдохнул теплого летника, осмотрелся. Ветерок перебирал на деревьях листочки и шептался с ними заговорщически, облака неподвижно пенились лебедями на голубизне небесных прерий, а земля убаюкивала его своим теплом и покоем. Ничего не хотелось, и никуда, казалось, не надо было идти. Напротив огромным многоголовым змеевидным чудищем, расположилось гусиное пастбище, где домашние серые гуси застывали в иллюзорной неподвижности, неожиданно падая головой под воду и выставляя на поверхности носы долбленок, подрагивающие на концах трепетно и восторженно. Голод мучил Саватея изрядно, а напротив гордо шествовала легкая добыча, которая вспоминалась новогодним, с зажаренной корочкой, угощением за материнским праздничным столом. Мама, чтобы не испачкать нарядное шелковое платье, надевала белый с набивными дырочками фартук и ставила золотистого гуся на стол, а отец делил его, обжигаясь, руками, а потом с насмешливым удовольствием облизывал пальцы. Мама всегда говорила, что любит крылышко, это потом с годами он узнал, что она оставляла лакомые кусочки мужу и детям. «Мама, хорошо, что ты меня уже не видишь, моя жизнь иначе представлялась тобою. Моя богомольная сестра говорит, что ты не спокойна из-за меня и там, в раю, потому что другого места для тебя я не мыслю. Я был разрушителем твоего старческого покоя, твоей болью и стыдом. Меня нельзя простить, я себя не прощаю». Саватей не сводил глаз с гусяного хоровода, и ему



представилось, что держит он наиболее жирного гуся в руках и жарит его на раскаленные углях, а потом с наслаждением жует сочное мясо выбитыми наполовину зубами. Он начал разоблачаться, стягивая с себя давно не стиранные белье и, чтобы заметить место с одеждой, повесил на ветку дерева свой драный свитер и изношенную до прозрачности рубашку, а потом в трусах, потерявших всякую расцветку и свисающих до костлявых колен, двинулся в запруду.

Приблизившись к береговой полосе, он только теперь понял, почему это озеро называлось «Гусиный ландыш». Гуси толстым слоем унавозили берег, а затем истолкли его лапами в единое месиво, в которое вступил босыми ногами Саватей. Пальцы сами расщепились от склизкой и влажной суспензии, просочившейся между пальцев на кожу ног, утонувших до щиколоток в гусином желе. Он пошел вперед. Ученик впервые ставший на коньки, да еще в ботинках большего размера, балансирует, широко раскинув руки по сторонам, боясь разбиться о невыносимо гладкий лед, так и Саватей шел, боясь голым свалиться в медузообразную кашу гусиного назема. И все же он достиг воды, но теперь страшился спугнуть гусей неосторожными шлепками ног, а пуще всего – упасть и с треском въехать в гусиное стадо, и тогда он должен будет распрощаться с мечтой об обеде. Однако, все удалось! Он прошел меченый берег и вошел в воду так, что крайние гуси только недовольно зашипели и гоготнули на него ворчливо да ближе подвинулись к своим.

Саватей ушел под воду, и его тело, отравленное накануне алкоголем, вялое и чужое, начало оживать в мутном гусином ставке. Он уходил все ниже и ниже и наконец достиг руками дна, а затем, не включая клапана для дыхания лег на песок котлована и открыл глаза. Над ним, будто розовые нарядные банты, шевелились в непрерывном ритме гусиные лапы, то по кругу, то шеренгой, то двигаясь накатом, от центра к берегам и обратно, а отделялся их падеспань от него зеленым столбом воды. «Может остаться здесь? Не вылезать, покончить со всем и со всеми? Кому я нужен? И кто нужен мне?» – а тело уже напряглось и потянулось за крайними сильными ногами жирного гуся, которого Саватей схватил за выгнутые назад коленки и с силой рванул вниз, увлакивая бьющуюся жизнь на дно. Он не слышал, как гусь издал истошный вопль всей огромной стае, оголтелый и недюжинный, предсмертный, и вся масса птиц тревожно загоготала и забушевала, а затем с криком снялась и взлетела, разнося на всю станицу бессвязный призыв о помощи. Саватей вынырнул с гусем, у которого была свернута шея, крепко прижал его к голым ребрам и, высоко задирая голени, заспешил к леску, скользя и спотыкаясь в гусином помете, удирая от безумного клича птиц.

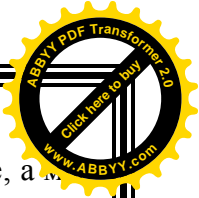
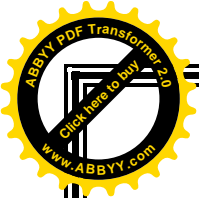
Когда он появился – голый, с засохшей на ногах сизой пудрой, с гусем под мышкой и одежкой в другой руке, с мокрыми, лезущими в глаза прямыми волосами, из под которых выглядывали голодные глаза, его напарники поняли, что никуда они с ним не доедут и хорошего им от него не перепадет.

– Значится лазил в «Гусиный ландыш»? У нас это последнее дело, даже собаки теперь с тобой водиться не будут, не то люди. Надолго теперь зацветешь.

– Да, ладно тебе, Груня, жрать ить и нам охота. Может ему поможем, он поди, не знает, чо дальше-то делать с гоголем.

– Помогай, коли охота, а я пас. Гоголь-то в июле без жира, пустой номер! А тикать от него надо, он ведь до ручки дошел, а значит, не будет нам наживы и дольцев не видать.

– Чичас пойдем, только ему растолкую чо к чему. Жалко чой-то этого бедолагу. Видно, и впрямь жратва боле питья достала. Послухай меня, Савва, гуся не щипи, а обмажь его глиной насквозь, да и в угли, пока глина не полопается, а тогда ее сдери, да и



наслаждайся, если удастся. А глина – она в той низине, там и обмоешься в карьере, а мы удаляемся, нам с тобой не в путь. Прощевай!

– Уходите прочь, – процедил сквозь зубы Саватей, мелко трясясь, как в лихорадке.

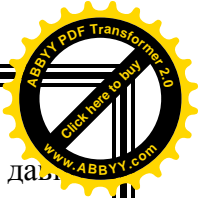
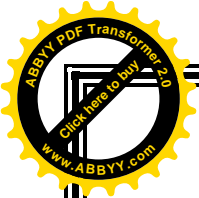
– Костерок-то готов, досмотри за ним, – посочувствовал Крендель.

Гусь пекся уже более трех часов, и Саватей устал ждать, пока потрескается глина. Он достал палкой глиняный курдюк, повертел его на траве, да и махнул по нему со всей мочи палкой, потом еще и еще, кроша глину на мозаичные куски. Дуя на пальцы, он хватал твердые осколки и отдираал их с перьями от тушки гуся, который пузырьками вздувался на шкурке и вкусом истекал по бокам. Саватей нервно глотал слюну, и невольные спазмы издавал его желудок, этот орган проявлял большую рьяность, работая на холостом ходу. Саватей дул на гуся ртом, сложенным в гармошку, он попытался схватить зубами кусок от жаркого и сразу спалил себе губы, а его голову закружило от аромата печеного мяса и паленых перьев.

Вот тут он и встретил из кустов взгляд. Кошачья морда почти вылезла наружу и стойко смотрела неотразимыми глазами в его глаза, в них он увидел не просьбу, а желание, почти такое же желание, как и у него, утолить раздражающий мозг голод. Это пришла рысь. Саватей хорошо разглядел ее приметливые кисточки на острых ушах, узкую бесстрастную мордочку, и блеск немигающих с поперечной чертой глаз. Саватей отставил свою добычу, заметив в себе, что он не может есть, когда рядом мучается зверь, может быть, и небезопасный, и в повадках не знакомый, но вот пришел к нему, к человеку, точнее – к его нехитрой трапезе, в надежде подкрепиться. Он, не спуская с рыси глаз, нащупал близ себя отрезанную голову гуся и бросил в кусты, голова упала, не достигнув цели. И рысь прыгнула гибкой рыжей бестией, схватила подачку и бросилась обратно. Саватей понял, что она ушла, и начал есть гуся.

Он еле оторвал зубами первый кусок и глотнул его судорожно, тот, застревая под ключицами, пробивался комком вниз, распирая грудь. Потом долго и нудно грыз он жесткое мясо, обсасывая хрящи и кости. Вкусно ему не было, но состояние удовлетворенности все же наступило. Он лег в траву ничком, обхватил комья земли руками и, преодолевая тупое отчуждение, поплыл в блаженном сне. Очнулся, когда полная луна зависла царским блюдом над ним, и была она такой огромной и близкой, как никогда. Чудно и пленительно било лунным прожектором на потухший костер, на разбросанные по сторонам глиняные черепки с запеченными перьями и на остатки бродяжьего пиршества, которое помогли прикончить то ли вороны, то ли звери, то ли его новая знакомая – рысь. Под никелевыми серпантинными струями колдовски увеличивались и преображались тени деревьев, на которые наступали белыми исполинами статуи местного изобретателя. Саватею было и страшно, и хорошо. Он взгляделся в лунный рисунок и вспомнил, что в детстве слышал притчу о двух братьях, Каине и Авеле, как один со зла убил другого, вон там, на луне, навечно отпечаталось преступление: поднимает свою коварную дубину над собой старший, и еще ничего не произошло, но он замахнулся и обязательно ударит брата, который более любим Богом, потому что наполнен ангельской кротостью и беззащитен. Саватей знал, как любой житель двадцатого века про лунные кратеры, которые пятнают облик луны, про ее безжизненность, но всегда почему-то вспоминал про Каина и Авеля. Он, когда был трезв, раздумывал про раздвоенность сути своей и про то, что для кротости в нем не осталось больше места.

Он поднимался по темной лестнице своего подъезда, и здесь сильнее слышал введливый запах гусяного озерка, которым весь пропитался. Ему отчаянно захотелось



отмокнуть в ванной, сдирая с себя удушливую вонь, но ванну он тоже не так да, прокеросинил. При тусклом освещении пыльной лампочки заметил белеющую сквозь отверстие в почтовом ящике бумагу, которая оказалась письмом от сестры. Надсадно разорвал его и прочитал ошеломляющее известие: сестра писала, что больна не излечимо, и что, верно, умирает, а потому прощается с ним. Саватей плюхнулся на свой матрац в углу и завыл от боли, что сдавила его сердце, будто вибрировала с надрывом в нем какая-то жила, имевшая издавна родственную нежность к единственной сестре, с ее материнской жалостью к нему, с ее тревогой о нем и бесконечным желанием изменить его состояние.

Луна всей полнотой великолепного диска приклеилась на черноту голого окна, и выхватывала из кромешной темноты комнаты маленького скрюченного человека на боку, поджавшего ноги под подбородок и прикрывшего голову одной рукой, в которой был зажат белый листок. Она была соглядатаем того, как роились мысли под рукой Саватея и кублом стучали, и бились о стекло, желая вырваться из духоты и соединиться с ней, но отлетев от окна, по комнате бурлили образами.

– Бог, мой! Я не похаю жизнь, созданную тобой, так прекрасны твои доли и горы, воды и небо, полное светоноса и ночью, и днем! Во всем твоём великолепии и я жил, а за свою жизнь не дам и ломанного гроша, уподобился скунсу и стал изгой! Может, и неравную мену я хочу вымолить у тебя, мой Бог! Может, и ничего не значит моя просьба, каторжанина и пьяницы, да сердце просит. Продли жизнь моей сестры и забери мою, все в твоей власти! А она пусть еще побудет на земле не только женой и матерью, но и бабкой, и не забывает насовсем меня!

Видение Бога:

– *Чьи это стенания доходят сюда из бездны?*

Видение ангела милосердия:

– *Это Савва, Господи!*

Бог:

– *Тот, кто в младенчестве был так прекрасен, как ангел, играющий на лютне, и я одарил его щедро талантами?*

Ангел милосердия:

– *Это он.*

Бог:

– *Что же он просит? Ленивый раб, растранивший все мое богатство, пустивший по ветру мои дары? Вспомнил, наконец, вспомнил про меня.*

Ангел заступник:

– *Он ничего не просит себе, он просит за сестру. Он просит смерти, а время свое отдает сестре, что должна скоро покинуть бренный мир.*

Бог:

– *Чем он теперь занимается?*

Ангел правды:

– *Он ничтожен, сегодня украл гуся.*

Ангел заступник:

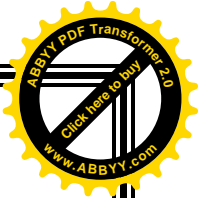
– *Он молится, Боже! Он молится!*

Ангел справедливости:

– *Поздно, слишком поздно. Завтра за ним придут стражники и отведут в темницу. Он для соседства с людьми невыносим.*

Бог:





– Ангел жизни, вставь в книгу его сестры чистые страницы.

Ангел справедливости:

– Много было ходатаев за его сестру, но почему его просьбу исполнит ангел жизни?

Бог:

– И малая капля иногда довершает великое. Ни от какого человека отказываться нельзя.

Ангел милосердия:

– Что же будет с ним?

Бог:

– Это решат люди.

Ангел милосердия:

– Они не будут справедливы, его осудят по обвинению двух его приятелей, а доказательством его вины станет картинка на стене. Помоги, ему, Господи!

Бог:

– Не могу. Вы знаете – какой мерой меряет, такой и ему отмеряется. Он живет с людьми.

Ангел заступник вынул листок из руки Саввы и протянул Богу:

– Прочти, Господи, он написал.

Бог:

– Читай!

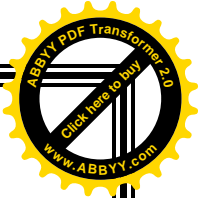
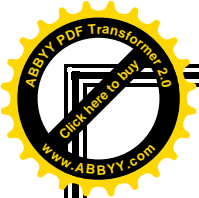
Ангел заступник читает:

*«Мой ум, в сомненье неустанном,  
готов из сердца гнать любовь,  
а сердце тешится обманом  
и любит, любит вновь и вновь.»*

*Нет у слезы обратной силы,  
не исцелит, чтоб я воскрес.  
Тебе не отогреть могилы  
всем торжеством живых чудес.»*

*И тело в глине прахом ляжет,  
Льну к стуже лютой я подчас,  
И черный рок вовек не свяжет,  
того, что развязал сейчас.»*

*Сулит мне рана огневая*



*одни страданья впереди,  
и сердце, кровью истекая,  
напрасно бьет в моей груди.*

*И тешась безысходной мукой,  
Твержу я сердцу своему:  
“Любовь забвеньем убаюкай,  
Гони любовь, поверь уму.” \*\*\**

Видение Бога с просиявшим ликом: «Вот и не знаешь, за что ценить человека!»

Е.А. Гусева-Рыбникова

\*\*\* в рассказе использовано стихотворение Леонида Рыбникова.